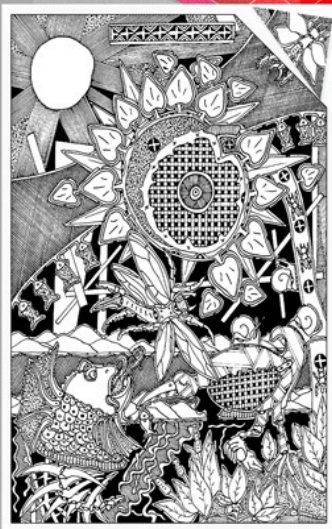


АЖЛ

АНТОЛОГИЯ
ЖИВОЙ
ЛИТЕРАТУРЫ



ЦВЕТ АЛЫЙ



Антология
Анна Теркель
Цвет алый
Серия «Антология Живой
Литературы (АЖЛ)», книга 1

Текст предоставлен правообладателем
http://www.litres.ru/pages/biblio_book/?art=39295264
Цвет алый. Антология живой литературы №1: Скифия; Санкт-
Петербург; 2013
ISBN 978-5-00025-008-2

Аннотация

Проект «Антология живой литературы» призван собрать под одной обложкой все возможные (и невозможные) литературные жанры малой формы, от прозаических миниатюр до графической поэзии.

Мы хотим донести до читателя творчество талантливых авторов, даже если оно не вписывается в рамки существующих литературных жанров или не вполне подпадает под определение «литературы» (например, стихотворения/миниатюры с рисунками).

Мы считаем, что каждый достойный современный автор должен иметь возможность быть услышанным своим читателем, –

и именно поэтому издательство «Скифия» открывает книжную серию «Антология живой литературы».

Содержание

I. Палитра звуков	7
Евгения Матвеева	10
День донора	10
Диалект	33
Созвучия	35
Евгения Онегина	39
Это только слова	40
Городами	44
Одновременно	47
Железная стена понимания	50
Ольга Редкоп	55
Несоединяемое не соединяется. Сетевая миниатюра	56
Мадлен	60
Олькины сказки	72
II. Про то и про это	80
Юрий Максименко	84
Нос в командировке	85
Санчо Панса, Санчо Пушкин и Дон Кихот	88
Элементарно, миссис Хадсон!	93
Трое Толстых и прочие рассказы и о писателях	104
Облако в штанах	109

Александр Галяткин. Юлия Фадеева	113
Анекдоты про Гримуарову-Штиглиц	113
Конец ознакомительного фрагмента.	122

Цвет алый

Антология живой литературы № 1

При оформлении книги использовались работы Евгения Вишневого. Сайт художника: www.genvish.com

О проекте

Проект «Антология живой литературы» призван собрать под одной обложкой все возможные (и невозможные) литературные жанры малой формы, от прозаических миниатюр до графической поэзии.

Мы хотим донести до читателя творчество талантливых авторов, даже если оно не вписывается в рамки существующих литературных жанров или не вполне подпадает под определение «литературы» (например, стихотворения/миниатюры с рисунками).

Мы считаем, что каждый достойный современный автор должен иметь возможность быть услышанным своим читателем, – и именно поэтому издательство «Скифия» открывает книжную серию «Антология живой литературы».

Анна Теркель, редактор-составитель

I. Палитра звуков

Евгения Матвеева



Евгения Онегина



Ольга Редекон



Евгения Матвеева г. Москва



День донора

Город только потягивался – не то от тоски, не то ото сна – и хрустел костяшками домов и домиков, выстроившихся по-

тертой грязно-белой шеренгой. Они готовились прозвенеть тысячей будильников, загреметь сковородами и чайниками и протяжно зевать резиновыми ртами заводных жильцов.

В это время Саша уже шел по Суетной улице, посасывая сладкий сухарь, испещренный подозрительно блестящим для столь раннего часа изюмом. Он прилипал к зубам, стараясь найти укромный уголок и спрятаться от ритмично стучащих челюстей. Устав вытаскивать изюмины изо рта, Саша стал выковыривать их из сухаря и умело отщелкивать в сторону проезжей части. Они отскакивали от припыленного асфальта и проворно скрывались в траве. Наконец последний кусок сухаря был проглочен. Хотелось пить, но до первого глотка было еще часа три-четыре, как повезет.

Дорога вильнула за угол, и Саша последовал за ней, попутно стряхивая крошки, устроившись на воротнике бледно-зеленой рубашки, на ребрах молочно-белых пуговиц и даже на ремне, прихватывающем льняные брюки песочного цвета. Брюки чуть покалывали кожу и заставляли идти дальше.

С каждым шагом становилось теплее, солнце все больше распалось, лучами прорезая глазурно-синее небо. По обе стороны тротуара выросли яблони, липы и клены, чьи кроны солнце еще не могло пронзить, но уже укутало слепящим светом. В воздухе смешивались и растворялись запахи скошенной травы, пыли и упавших треснувших яблок, которые исходили соком и размечали асфальт почти круглыми ко-

ричневыми пятнами, похожими на пуговицы от рубашки великана.

Саша снова свернул и вышел к небольшой постройке, огороженной низким решетчатым забором, утопающей в кустах сирени и высокой траве. Ему никогда не удавалось хорошо разглядеть, что внутри, а верить кому-то на слово, что это всего лишь голубятня, не хотелось. Поэтому всякий раз, проходя мимо, Саша сбавлял шаг и старался увидеть обитателя загадочного зеленого домика. Вполне возможно, что здесь жила-поживала сухонькая старушка, которая заманивала в свой укромный уголок детей, задержавшихся затемно на игровой площадке неподалеку. Может быть, она сперва поила детей чаем с конфетами, а потом раскрывала пышущую жаром печь и... Хотя нет, печи там явно не было, ведь тогда была бы труба, а из трубы шел бы дым. Наверное, старушка была более продвинутой и пользовалась чем-то еще.

Но сегодня Саша не замер перед забором, не сбавил темп, а только оглянулся на секунду-другую, он вроде бы даже заметил какое-то движение около домика и почувствовал на себе долгий взгляд. Времени, чтобы убедиться в этом, не было, о чем напоминали часы, нетерпеливо попискивающие каждые семь минут.

Наконец переулок влился в широкую Поспешную улицу, ведущую прямо к станции. Улица заполнялась людьми, следующими каждый своему ритму. Кого-то приходилось обгонять, кому-то уступать и не забывая уворачиваться от

свежеприбывающих прохожих, тут и там выныривающих из бесчисленных переулков. Справа нестройным рядом стояли машины; они то дружно вздрагивали и неуверенно двигались вперед, то обреченно останавливались, изредка издавая протяжный гудок – наверное, так же жалобно мог бы завывать зверь, попавший в капкан, или провинившийся пес, который понял, что натворил что-то не то и расстроил хозяина. Слева время от времени возникали белые и бледно-желтые ларьки и киоски.

Каждое утро они открывались, чтобы приманить ранних птишек, и каждое утро к ним никто не подходил. Только к полудню подтягивались женщины с колясками и седые мужчины в кепках. Первые долго рассматривали витрину, чтобы купить новенький журнал, вторые сразу спрашивали номер газеты, любезно отпечатывающей текст статьи на ладони, наверное, для забывчивых.

Саша обогнал двух болтливых старушек в ажурных белых панамках, и вскоре перед ним раскрыл зев подземный переход, также служивший входом на станцию. Чтобы сесть в поезд, нужно было преодолеть живую преграду в виде раздатчиков листовок – они хаотично перемещались по ступеням и не менее хаотично размахивали руками – и пройти продавцов свежих ядов, которые, аки сирены, пытались заманить всякого прохожего. «Вперед и только вперед», – пробормотал Саша, сделал глубокий вдох и смело сбежал вниз по лестнице. Только он собрался выдохнуть, как врезался в грузную

женщину в красном фартуке. Впившись взглядом в серые Сашины глаза, она почти вопросительно произнесла: «Учеба и знания». «Что?» – переспросил Саша. «Учеба и знания», – повторила женщина, сверкая густо подведенными глазами и держа наготове свернутую, как для битья мух, газету. «Да, знания», – ответил Саша и поспешил ретироваться.

Пройдя турникеты, невидимой стеной отделяющие гам внешнего мира от культивированного покоя Конечной станции, Саша расслабился, достал из заднего кармана брюк вчетверо сложенный лист и перечитал:

«Уважаемые доноры!

Чтобы сдаваемый Вами материал был максимально полезен,

Союз убедительно просит Вас соблюдать следующие правила:

1. За 1 (один) месяц до дня сдачи материала категорически запрещается создавать либо редактировать тексты. Написание формальных писем, заявлений, объяснительных и других текстов, создаваемых по шаблону, допускается.

2. За 2 (две) недели до дня сдачи материала следует избегать любые предметы и явления, имеющие прямое или косвенное отношение к сфере искусства. Сюда относятся в том числе: посещения различных музеев, прогулки по паркам и усадьбам, выезды за город с целью приобщения к природе.

3. За 2 (две) недели до сдачи материала категорически запрещается участвовать в дискуссиях

любого рода, если они допускают формирование собственного мнения и развитие собственных идей.

4. В день сдачи материала до момента окончания забора материала категорически запрещается пить, чтобы не допустить разжижения мыслей и ухудшения качества материала как следствие. С утра в день сдачи материала разрешается съесть 1 (один)—2 (два) сухаря из пшеничного либо ржаного хлеба или 1 (одну)—2 (две) галеты, не обладающие выраженным вкусом.

Союз ценит вклад всех доноров и благодарит их за помощь в поддержании литературы!

Адрес Центрального пункта сбора материала: г. Борисов, ул. Надежды Надежной, д. 33»

Дойти до пункта можно было от двух станций: от Боярской площади и от Сентябрьской. Саша решил, что определится с выбором по дороге, и зашел в поезд, радушно открывший двери перед ожидающими пассажирами. Саша пробрался в глубь вагона и схватился за блестящий поручень. Он переживал (Саша – не поручень, поручень старался не переживать по пустякам, возраст сказывался), что его не допустят до донорства, ведь соблюсти удалось не все правила. Не писал он всего 3 недели (однако медсестра по телефону уверяла, что это допустимо); книг хоть и старался избегать, но волей-неволей заглядывал в чужие в транспорте и выхватывал по три-четыре строки, а иногда и больше; парков он не посещал, но дорога от дома до станции и от станции

до дома пролегла через зеленую аллею. Чтобы не делиться мнениями, Саша ни с кем не встречался, но часто спорил сам с собой. А сухарь нашелся дома только один – сладкий, с гладкой корочкой и изюмом. Саша успокаивал себя тем, что медсестра обмолвилась о существенной нехватке материала и о необходимости собирать хоть что-то для Союза.

Пассажиры входили и выходили, сопели, шипели, ругались и хихикали в уголке. Саша любопытно рассматривал лица и позы, жесты, слушал обрывки долетавших фраз, наблюдая и запоминая этот день. На очередной станции поезд зачерпнул очередных пассажиров и в вагон вошла девушка. Даже не так – в вагон всплыла девушка, всплыла, не как плывет рыба или водоросль в городском пруду, а как плывет по небу облако в жаркий летний день. Но для Саши девушка словно возникла из ниоткуда, потому что сложно было представить, что она, как и все, ехала из пункта «А» в пункт «Б» по будничным делам. Саша смотрел и жалел, что может писать лишь тексты, а не картины, иначе бы он зарисовал ее образ – нежный, томный, неземной. Нарисовал бы (простите, написал) ее спящей в воздушном оранжевом платье, которое, как туман, окружало ее и колыхалось в такт движению поезда, нарисовал бы мягкие красные туфли, лентами обвивающие лодыжки и напоминающие о Греции и балете – о греческих балеринах, танцующих на песке, – нарисовал бы каштановые волосы, которые чуть выгорели на солнце и спадали на плечи.

Саша старался запомнить каждую деталь, чтобы поместить ее в специальное хранилище впечатлений. Вслед за девушкой он вышел из вагона, но замечтался и потерял ее в толпе. «Она вошла, как облако, и, как облако, растворилась», – подумал Саша. Вздохнув, он огляделся: «Хотя бы вышел на нужной станции», – и перешел на Коричную линию. Через несколько минут он уже поднимался по лестнице со станции Сентябрьская.

Жаркий воздух улицы, не прикрытой ни деревьями, ни кустами, ворвался в нос, разогрел легкие; во рту еще больше пересохло, и даже от вида фонтана, шумящего неподалеку, становилось некомфортно. До пункта сбора предстояло идти, рискуя растаять на горячем асфальте, еще минут десять.

– Отсюда двенадцать минут пешком до пункта, – услышал Саша за своей спиной чей-то неожиданно громкий голос. – Ты ведь туда идешь? Проводить?

Саша обернулся и увидел не очень высокого худого паренька в выцветших джинсах и поразительно узкой красной рубашке. Его короткие светлые волосы не то завивались, не то были взъерошены и всклокочены ветром.

– Так тебя проводить? Я Костик, – спросил Костик и представился.

– Да, спасибо. Саша, – ответил Саша. – А как ты понял, что я направляюсь в пункт?

– У меня большой опыт, – Костик рукой показал, куда идти, и бодро зашагал вперед. – Я легко узнаю нашу писатель-

скую братию. Сам частенько сдаю.

– Насколько часто? Каждый месяц?

Костик ухмыльнулся:

– Каждые две недели не хочешь? Деньги всегда нужны. И правила вступления в Союз сейчас изменили, повысив требования.

– И что, тебя допускают к сдаче? Ведь ты нарушаешь правила. Я думал, за этим строго следят.

– Зря думал. У них там, в Союзе, что-то вроде кризиса. Союзные авторы стареют и хиреют, материала на всех не хватает, с пункта требуют перевыполнения плана по перевыполнению плана, поэтому медсестры стали закрывать глаза на нарушения. Берут кого попало, лишь бы человек мог написать хоть что-то, хотя бы анкету заполнить. Подожди минуту, жара невыносимая, – Костик отбежал к ближайшей палатке и купил бутылку воды. С тихим шипением открылась крышка, и в воздух попало множество мелких брызг, переливающихся в луче света. Костик жадно прильнул к горлышку и выпил залпом почти половину.

– Хочешь? – он протянул бутылку Саше. – Они не проверяют, можешь поверить. А горло у тебя скоро начнет болеть от пересыхания.

Саша неуверенно взял бутылку и сделал глоток, второй; стало легче, даже воздух вокруг стал легче и прохладнее.

– Спасибо, – Саша вернул бутылку. – Неужели они потом не поймут, что я нарушил правила? Ведь пишут, что вода

может повлиять на качество материала.

– Нет, не поймут. Потому что бред это все. Как вода может влиять на строчки? – Костик снова ухмыльнулся. – Медсестры неправильно поняли фразу, что писатель, сдающий материал, должен жаждать. Вот они и придумали этот пункт. Никто ведь не уточнил, чего жаждать – крови, творчества или воды.

У Саши невольно вырвался смешок.

– Ты говорил что-то об изменении правил приема в Союз...

– Да, точно. Я сам туда хочу попасть с детства. Последние 4 года регулярно сдаю строчки, последние 4 месяца – каждые 2 недели. Если бы правила не изменили, через месяц подавал бы заявку в Союз. Ты ведь знаешь, условия там шикарные, не зря же это Союз писательской взаимопомощи! Квартиру дают, деньги каждый месяц выделяют, хоть ты даже и не пишешь уже год-два. А если пишешь, то написанное издают не успеет рукопись остыть. Пока печатают тираж, коллеги по Союзу выдают с десятков хвалебных рецензий, даже не читая твою книгу, другие коллеги печатают это в журналах, третьи расхваливают перед камерами. Поэтому когда книга появляется в магазинах, ее сметают, ее рекомендуют, в ней ищут смысл.

– А разве в Союзе когда-либо писали плохие книги? – задумчиво поинтересовался Саша. – Ведь многие из них стали классикой...

– Классические произведения хороши, я не спору. Но пойми ты, нельзя быть гениальным творцом вечно. Можно написать один хороший роман, три пьесы, пять рассказов. Да пусть даже десять! Но ведь у них счет идет на десятки. Все не может быть хорошим. И состав Союза не менялся уже 50 лет, с момента его создания. Им нужна новая кровь, но они не хотят видеть новые лица в литературе. Именно поэтому и ставят невыполнимые условия для подачи заявки.

– Совсем невыполнимые?

– Ну... Почти. Раньше требовали три рукописи и три тысячи страниц, сданных в пункте. Теперь просят десять тысяч страниц, ты вдумайся, десять тысяч! Я сдаю четыре года и еле-еле набрал две тысячи восемьсот. И ведь я мухлюю! А тут десять тысяч – зато ни слова о рукописях. Понимают, что никто не сдаст... Мы почти пришли. Скоро увидишь тошнотворный домик.

Через тридцать шагов Саша и впрямь увидел четырехэтажный грязно-розовый домик, своим видом напоминавший заветрившийся зефир, забытый в витрине маленького магазина на окраине города. Здание окружали редкие тополя и островки жухлой травы. От остального мира Центральный пункт сбора отделял забор из тонких черных прутьев, покрытый кусками старой краски и пылью. Костик сделал последний глоток и выбросил бутылку.

– Пойдем, – сказал он, – сейчас начнется самое страшное. Зайдем порознь, чтобы медсестры не заподозрили чего-ни-

будь. Тебе нужен центральный вход. Попадешь внутрь – иди к стойке регистрации, там тебе выдадут анкету. Не забудь указать, что никакие правила не нарушал, а то сразу отправят восвояси. Заполнишь анкету, отдай ее старшей сестре – она сама подойдет, когда ты встанешь в очередь вдоль стены. Как на расстрел, – Костик хмыкнул. – Дальше тебе все расскажут. Запомни одно: когда все закончится, езжай домой. Не встречайся с друзьями, не гуляй, только домой, чем быстрее, тем лучше. А дома ложись спать. Понял?

– Да, спасибо, – Саша кивнул. – Иди первым, а я за тобой. Хочу немного перевести дух. Нервничаю.

– Это нормально. Потом привыкнешь. Ну все, бывай, – Костик пожал Саше руку и быстро двинулся ко входу в зефирный дом.

Не решаясь сделать шаг, Саша выждал минуты три и все-таки последовал за Костином.

Дверь центрального входа вызывала если не трепет, то неприятное волнение. Сизая, металлическая, она грозила хлопнуться и больше никогда не выпустить несчастного, который ее откроет. Над дверью золотом было написано какое-то обращение к всякому, входящему сюда. Но краска почти стерлась, и Саше не удалось разобрать ни слова.

Внутри оказалось неожиданнолюдно: молодые и не очень писатели группировались возле стен и немногочисленных скамеек, вжимались в углы, ходили взад и вперед от одного кабинета к другому. Стойка регистрации находилась ровно

посередине холла, так что Саша без труда отыскал ее.

За высокой стойкой из белого пластика восседала мило-видная медсестра в не менее белой форме, сшитой из поразительно плотной ткани. Воротничок чуть приподнимался, давая понять, что не собирается спокойно лежать возле шеи, а рукава и вовсе оттопыривались, боясь притронуться к коже. На нагрудном кармане формы была вышита эмблема Центрального пункта сбора материала при Союзе писательской взаимопомощи.

Медсестра сладко улыбнулась и тягуче произнесла:

– Добрый день, вы первый раз? Могу я чем-то помочь?

Саша на всякий случай оглянулся, проверяя, что за ним никого нет и что сестра обращается к нему, и поздоровался в ответ.

– Да. Я впервые, – ответил он, – мне нужно заполнить какую-то форму?

– Конечно же, держите, – девушка привстала и протянула из-за стойки свои длинные тонкие руки, которые держали два скрепленных сверху белых листа. – Вы можете заполнить их здесь, на скамейке или в любом другом месте в здании. Выносить формы из здания строжайше запрещено, – медсестра улыбнулась еще слаще и снова села, напроочь забыв о Саше.

Саша забрал анкету. Первый лист венчала та же эмблема пункта, что украшала одежду медсестер. Это был черно-белый рисунок, изображающий чернильницу, пухлое тело ко-

торой обвивало перо. С заостренного кончика пера в горлышко капали чернила. Саша никак не мог понять, почему Союз выбрал именно перо – ведь и ручками уже почти никто не пишет.

Анкета содержала ряд общих вопросов о том, кто ее заполняет, и требовала подтвердить соблюдение правил сдачи материала, грозя карой и отказом в случае дачи ложных показаний. Не успел Саша поставить подпись на последней строчке, как к нему подошла невысокая полная женщина в форме, носящая на груди круглый металлический значок, который сообщал, что она является старшей медсестрой Центрального пункта в данный момент времени.

– Ну что, голубчик, все заполнил? – добродушно спросила она и, не дожидаясь ответа, забрала листы бумаги. – Пойдем теперь за мной.

– Хорошо, – Саша покорно последовал за ней.

Старшая сестра пересекла холл и указала Саше на очередь возле желтовато-бежевой неровной стены:

– Встань пока сюда, а я отопру кабинет и впущу вас, – она направилась к белой двери с чуть облупившейся краской, но остановилась на полпути и выхватила из очереди ссутулившегося паренька. – Чернов! Я тебе что говорила – не пущу еще раз! Ты неделю назад был, прошмыгнул мимо меня. Ну-ка вон, пока я тебя за шкурку не вытащила! И чтоб два месяца тебя не видела.

Чернов пытался сопротивляться, но получалось это у него

из рук вон плохо. Он был похож на сдувшийся воздушный шарик, обреченно повинующийся малейшему порыву ветру. Глаза Чернова казались пластиковыми, как стол регистрации, веки темнели на тусклом, как калька, лице. Шаркая, он двинулся к выходу.

– Что с ним? – обратился Саша к соседу.

– Говорят, он несколько недель подряд приходил сдаваться, его уже выжали до строчки. А он все равно приходит. То ли деньги так нужны, то ли мазохист, – сосед безучастно пожал плечами.

Щелкнул дверной замок, и старшая медсестра пригласила ожидающих в комнату. Каждого она взяла за руку и подвела к его месту, что-то приговаривая и будто припевая. Когда ее мягкая ладонь коснулась Саши, он невольно вздрогнул.

– Не переживай, рыбка моя, это нестрашно. Сейчас сядешь в креслице, сразу успокоишься – и все пойдет как по маслу, – ворковала она и вела Сашу под руку. – Комнатка у нас уютная, в приятном полумраке и с творческой атмосферой, чтобы вы могли расслабиться и вдохновляться. Все для вас, зайки мои, все для вас.

Саша онемел. Комната не казалась ему уютной. Она даже комнатой не казалось – больше походила на увеличенную в размерах подсобку. В ней не было окон, свет исходил только от моргающих на последнем издыхании ламп, которые создавали совсем не приятный полумрак, от которого болели глаза. В центре комнаты, по кругу, стояли шесть кре-

сел, которые уместнее смотрелись бы в кабинете стоматолога. В одно из них и усадили Сашу, который пытался лучше рассмотреть обстановку. Ноги пришлось ставить на металлическую подножку, крепления которой цепко схватили Сашины ботинки. Руки легли на жесткие подлокотники, и кисти тут же были обвиты широкими ремешками. Чтобы не было лишних движений, которые могут помешать сбору материала, как пояснила сестра. Рядом с каждым креслом стоял внушительных размеров бидон, от которого тянулись полупрозрачные трубки молочного цвета, присоединенные не то к большим очкам, не то к шлему. Медсестра уже прикрутила трубки к бидону рядом с Сашей и готовилась надеть странную конструкцию на его голову. В месте стыка, на уровне виска, трубки были примотаны к шлему синей изолентой.

– Скоро начнем, – убаюкивающе пропела старшая сестра, и Сашины глаза закрыл темный экран. – Вернусь за вами через два часа. Творите, деточки!

Что-то щелкнуло. Саша сделал глубокий вдох, однако это не помогло расслабиться. Перед глазами мелькали полотна художников, в уши вливалась классическая музыка, изредка прерываемая чтением стихов. Разбирать строчки было сложно – записи состарились еще до Сашиного рождения, помехи почти полностью перекрывали голоса авторов, поэтому Саша радовался, когда в очередной раз играла «Лунная соната» или «Весна» – композиции столь известные и привычные, что помехи не мешали воспроизводить в голове их звучание.

Череду русских пейзажей, всплывающих на экране, прервала изображение козлоногого божка с пронзительно-грустными ледяными глазами. Саша было отшатнулся, но бежать от него было некуда. Картина застыла перед глазами, и оторваться от нее было невозможно, какой бы страшной она ни была. Сердце стучало, словно хотело вырваться, изнутри подступала дрожь. Голова горела, и вместе с тем казалось, что из самой глубины разума кто-то вытягивает холодные тонкие нити, бесконечные и жалящие.

Чтобы отвлечься от неприятных ощущений, Саша попытался пошевелить руками, но ремни не давали этого сделать; старался сосредоточиться на музыке, но она казалась оглушающей и причиняла еще больше неудобства. Каркас кресла врезался в спину, ноги затекли, а голова вот-вот должна была разлететься на тысячи осколков.

Время тянулось мучительно медленно, возможно, и вовсе остановилось. Но, нота за нотой, картина за картиной дрожь утихла, сердце успокаивалось, голова остывала. Стрелки часов возвращались к привычной скорости, кресло больше не казалось неудобным. Саша расслабился.

В конце концов музыка стихла, картинки пропали и старшая сестра сняла шлем с его головы. По трубкам струился не то пар, не то туман – материал, как подсказала сестра, – и стекал в алюминиевый бидон рядом. Саша потянулся и осмотрелся. Комната была погружена в уютный полумрак. Другие доноры уже двигались к выходу в холл, и Саша поспешил за

ними.

Стены холла казались светлее, а сам холл будто раздулся изнутри, чтобы вместить еще больше посетителей. Рядом с дверью толпилась новая порция доноров, и теперь медсестра курлыкала с ними, не забывая, однако, бросить последний взгляд на тех, кто выходил. Она слегка тронула Сашино плечо и шепнула на прощание:

– Не переживай, золотце, скоро пройдет. Будешь как новенький! Ступай.

– Спасибо, – машинально ответил Саша, не понимая, о чем она говорит. Он чувствовал себя совершенно нормально, только хотелось пить и в груди будто стало больше воздуха – не свежего воздуха, которым улица наполняется по утрам, а воздуха, заполняющего комнату старого дома, где жили бабушка и дедушка и где уже давно нет ничего, кроме мебели и пожелтевших обоев.

Окно напротив стола регистрации венчала пышущая важностью надпись: «Выдача донорских гонораров». Саша покорно встал в очередь. Разглядывать было нечего, посему оставалось только ждать, ждать, ждать и верить, что скоро назовут твое имя.

– Следующий! – рявкнуло окно. Имени никто называть не собирался. Не то чтобы это было сложно, просто окну было плевать на имена, фамилии и на много другое.

Саша подошел и собрался поздороваться, но окно торопилось:

– Ставьте подпись! Не задерживайте очередь! Сколько тут? 400 строк. Ваш конверт. Следующий!

Он забрал помятый конверт с пятью купюрами внутри и поспешил на воздух. У выхода Саша заметил кулер с водой, залпом осушил стакан, потом другой, пальцами сдавливая тонкий белый пластик. Стакан полетел в мусорку к десятку своих собратьев.

Дверь скрипнула проржавевшими петлями, и улица оглушила ревом проезжающих машин, стуком каблучков, гулко отскакивающим от асфальта и непрекращающимся разговором снующих туда-сюда пешеходов. Идти обратно к Сентябрьской станции не хотелось, поэтому Саша повернул налево и двинулся к Боярской площади.

По обе стороны дороги блестели витринами магазины, мужчины в жарких темных костюмах, хмурясь, кричали в свои телефоны и совсем не смотрели на дорогу, которую спешно отмеряли шагами. На этой улице никто не смотрел по сторонам и думал только о своих делах, о своем отдыхе, о своей усталости. В любое другое время Саша зацепился бы даже за это, мысленно составил заметку и спрятал в архив собственной памяти, но сейчас окружающее было ему безразлично. Он только шел, дышал, вспоминал советы Костика и всем телом ощущал непривычную тяжесть плотного неподвижного воздуха.

Улица – прямая и как будто составленная из одинаковых деталей конструктора – скоро привела к монументальному

краснокаменному входу на станцию, и Саша спустился в подземку. Он спокойно зашел в подъехавший поезд и встал, опершись спиной на поручень и вперившись взглядом в окно, через которое можно было видеть другой вагон.

В груди что-то медленно шевелилось, сгущалось, сворачивалось в тугий клубок. Сашу начинало подташнивать, хотелось поскорее очутиться дома и скрыться от любых помех и раздражителей. Эмоции не то испарились, не то уснули, может, остались в Центральном пункте сбора материала, Саша не знал. Становилось пусто.

Поезд мерно ехал по нескончаемому темному тоннелю. Вагон впереди раскачивался, наклонялся, подпрыгивал. Иногда он напоминал большую игрушку, которую за крышу придерживает испачканная зеленым фломастером рука пятилетнего мальчика, иногда казалось, что вагона нет, а есть только экран, на котором показывают скучную запись трясущегося вагона. Все это нагоняло дремоту.

– Станция Конечная, выметайтесь на платформу, – голос машиниста прогремел по всему поезду.

Саша вздремнул, вздрогнул и, кажется, даже подпрыгнул от неожиданности. Объявление вырвало его из сонного оцепенения. Платформа была почти пуста. Бледно-серая плитка, которой было отделано все, что только можно было ей отделать на станции, была начищена и блестела так, что резало глаза. Раздатчики листовок сложили свои руки-мельницы, шептались с торговками и недобро посмат-

ривали вокруг. Вяло поднимаясь по лестнице, Саша тщетно пытался сбросить липкие остатки дремоты; клубок в груди стал плотнее, однороднее и застыл гладкой сферой, которая двигалась в такт дыханию, оттягивая плечи и голову вниз.

Небо с разных своих концов собирало тучи, а ветер, разогреваясь, порывисто дул, выхватывал мусор из кустов и выносил его на дорогу, чтобы редкий прохожий подобрал обертку-другую и выбросил в урну. Увы, редкие прохожие сегодня были особенно редки.

Саша возвращался домой, стараясь ни о чем не думать и ничего не замечать. Асфальт разворачивался под ногами, то вспучиваясь, то пропадая в ямках, трескаясь под напором травы, крошась от старости. Рядом пробежали дети, проезжали поскрипывающие коляски, мужчины в кепках шли, шурша свежей газетой, а бабушки в ажурных панамках довольно направлялись к лавочкам.

Саша свернул, прошел мимо старой заросшей голубятни, мимо детской площадки, заливающейся смехом и повизгивающей, мимо шелестящих яблонь. Ветер закончил разминку и задул изо всех сил.

Загудело, зашумело, загрохотало. Гром оглушил всех, кто не успел убежать, и небосвод покрылся сотней трещин. Голубая глазурь стала отваливаться, открывая грифельную наготу неба. Куски глазури таяли и впечатывались в землю крупными каплями. Покрываясь бусинами дождя, Саша подходил к дому.

Возле подъезда рабочие бросили гору горячего асфальта. Пар от него поднимался, чтобы раствориться в водной стене. Пахло прохладой и мокрой пылью. Саша делал вдох за вдохом и никак не мог надышаться. В груди ныла пустота, сердце сдавливала тоска о том, чего никогда не было и быть не могло.

Он чувствовал себя больным, хотя не был болен. Вероятно, об этом и предупреждали медсестра и Костик. Вероятно, это – творческое истощение, невозможность написать ничего, кроме объяснительных и заявлений. Вероятно, именно этого стоят пять неновых купюр, которые лежат в заднем кармане колючих брюк.

Размышляя об этом, Саша поднимался в квартиру, прокручивая в пальцах кольцо, неизвестно от чего удерживающее ключ. Саша разулся, прислушался к тишине родного дома – к той особой тишине, которая позволяет не замечать соседских ссор, работающего через стенку телевизора и тарактения поливальной машины по утрам. Квартира была спасением от суеты, пещерой, которая хранила вещи, а не тени.

На кухне жужжала заблудшая муха, то и дело врезающаяся в заклеенное темной пленкой окно и совершенно игнорирующая распахнутую настежь форточку. На столе лежал пакет от сладких сухарей, которые оставили после себя след из хрустящих коричневых крошек. В темной ванной Саша долго мыл руки, наблюдая, как уходит вода, и желая, чтобы вода смыла еще и усталость. Свет включать не хотелось, он

был бы неуместен. На зеркале виднелись следы от высохших капель. Саша долго смотрел на свое отражение, не узнавая не то его, не то себя.

Он прошел в комнату и, не раздеваясь, упал на кровать, лицом уткнувшись в подушку. Пустота давила снизу, усталость наваливалась на спину, тоска заливалась в уши. Как мантру, Саша шептал: «Это пройдет, это скоро пройдет, очень скоро пройдет». Это уже проходило.

Возможно, дело было в мягкой подушке, возможно, мантра работала, но скоро Саша заснул спокойным сном – без мечтаний, без надежд, без впечатлений, без девушки в летящем оранжевом платье.

Впрочем, о девушке он вспомнил уже утром.

Чашка чая

Смотрела в окно.
Вчера там, за окном, падали размоченные овсяные хлопья.
млечный путь расплескался – капли попали в чашку английского лорда.
Небо серое – терпкий байховый чай смягчился
его запах больше не раздражает дождливого совывателя,
который медленно перетекает с одной стороны улицы на другую,
идет мимо Чайного магазинчика, мимо чайной,
мимо жилого дома, где сейчас неработающая мама готовит
сладкие булочки к чаю – завтрак для своего малыша.
Малыш забирается на табуретку, оглядывает кухню
в которой стынет светлая янтарная
и гнет руки к чашке с Винни Пухом
Этот чай сладкий – не бодрит, не вгоняет в сон, но согревает.
Мама позвала
малыш резко повернулся, опрокинув нечаянно чашку.
Проходит дождь, чья-то тинкают, простуженный прохожий
туча бедедз по улице, которую заливает смола фонарей,
колючий свет чайной, электрический всплеск
фар, размешивающий темноту
Магазин
Вечер. Смотрю в окно. В ладонях шепчет, остывая,
черный байховый чай.

Диалект

Ты говоришь со мной на странном языке. Языке полутоннов, полунамеков, полусознанных междометий, милых полуулыбок и доверчиво тянущихся ко мне рук. Сейчас твоя речь – всего лишь небольшая палитра звуков, и, выбирая один из них, ты пытаешься донести что-то новое этому миру, передать свое восприятие, ощущение, отношение к чему-то, мне уже не заметному. Ты не делишь дни на часы, год – на недели и месяцы. Понятия времени еще не существует для тебя, как не существует и конца-начала. Наверное, поэтому

ты будешь убежден в своем бессмертии. Но подрастешь еще – и уже беспрепятственно сможешь осыпать взрослых ярким конфетти из вопросов, многие из которых останутся без ответа.

Маленький актер, ты хохочешь и плачешь, корчишь гримасы и хитро, совсем по-взрослому, прищуриваешься – все это для того, чтобы получить желаемое: оказаться на руках и потрогать колокольчики. Найти их можно везде – в коридоре (блестящие красные трубочки), на кухне (металлический «ветер»), в ванной (серебристые пластинки, за них ты хватаешься после купания), большие золотистые колокола под советской люстрой, оставшиеся после какого-то Нового года, между которыми спрятался маленький бубенчик, – твои любимые. Их звучание приводит тебя в такой же восторг, что и встреча с кошкой – желанным собеседником, который упорно не обращает на тебя внимания.

Точно турист, не знающий местного наречия, ты общаешься, пользуясь языком жестов. Когда радуешься, машешь рукой; сжимаешь и разжимаешь пальцы, желая схватить что-то, а увидев что-то новое, интересное, вытягиваешь личико и открываешь рот так, что он становится похож на маленькую луну, а глаза – на лучащиеся капли осеннего неба.

Довольный собой, ты произносишь: «Буу!», «Ааоуиии», – отвечаешь на вопросы деда. Солнечный смех звучит, когда ты видишь маму, и, используя все, что только умеешь воспроизводить, ты рассказываешь мне о том, что тебя беспо-

коит. Ты говоришь на странном языке, которому скоро будет год, но я тебя понимаю.

Созвучия

«Это можно напеть, если очень захочешь...»

Это можно напеть, если очень захочешь,
Или с надрывом громко читать,
Выбрасывать в воздух густой и непрочный
Впопыхах зарифмованный смрад.

Это можно читать с листа и на память,
Пальцами дергая складки жабо,
Или нашептывать, вмиг забывая
Строк и созвучий лицо.

Это можно забыть, это можно запутать,
Исписаться и рукопись сжечь.
Можно сыграть шута или плута
И голову сбросить с плеч.

«Я просыпалась. За окном гремело...»

Я просыпалась. За окном гремело,
Иголки вскользь намetyвали лужи,
И чьи-то руки рисовали мелом
Узоры тысяч разноцветных кружев.
И чьи-то пальцы разметали листья,
Взъерошив головы рассветных кленов,
Отвeтив сотне безответных писем,
Упрекам беспробудных почтальонов.

Я просыпалась. Холодело небо,
Покрытое растрескавшейся коркой
Мучных, белесых облаков незрелых,
Живущих на рассвете так недолго,
Влекомых солнцем, солнцем же согретых —
Оно лучами расчесало проси́нь.
Я думала, что это было лето.
Я ошибалась. Начинаясь осень.

**«Переливаясь соннами
созвучий, плыву в небытие...»**

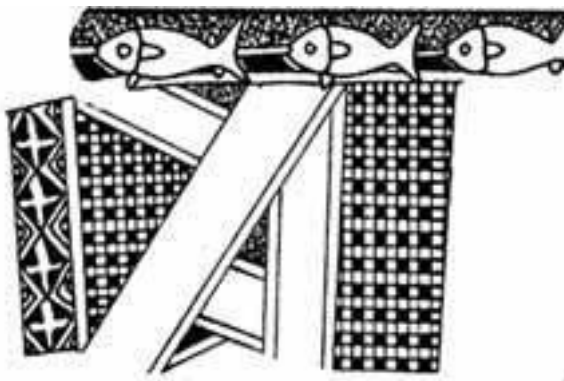
Переливаясь сонмами созвучий, плыву в небытие
беззвучной черноты вселенной, объятай светом звезд.
И падаю. Последнее паденье среди тонов, полутонов
оттенков и запахов, вползающих змеей
в меня, мое всеощущенье и бесконечность цветобытия
в пространстве-времени, в сети вибраций
и ароматогаммах,
в разбуженном уме слагающих слова
в калейдоскоп картинок и абстракционов,
струящихся сквозь веки, через пальцы
и рушащих все планыпланыпланы.
И чувствами снимая цепи с рук, я погружаюсь,
И я часть вселенной, покоящейся вечно на струне.
Я вижу звуки, слышу запах света и в свете таю.
Плыву в беззвучной темноте вселенной,
И свет во мне.

«Вдыхаю запах стынувшей воды...»

Вдыхаю запах стынувшей воды,
Он подплывает к самой кромке неба,
Сегодняшний нелепый поводырь —
Он говорит, куда забросить невод,
Чтоб выделить охапку желтых лап,
Кружащих под колесами трамвая,
Кружащейся как будто невпопад

Шкодливой разноликой стаи.

К воде крадутся вспышки пленных ламп,
И от воды плетется паутина,
Которая разделит пополам
Мой мир и пруд, что еле слышно стынет.



Евгения Онегина г. Москва



Это только слова

«Все, что я могу тебе дать...»

Все, что я могу тебе дать, —
это только слова.
хлестать ими по лицу,
прикасаться небрежно.
а поймаю твой взгляд опять —
и едва ли жива.
я, как узник, стою на плацу.
экзекуция – нежность.

и внутри обрывается все,
забываю дышать.
сердце с уханьем падает вниз
переполненным лифтом.
ты красавец, мудака и козел,
но какая душа!
может, это любовь? извини.
мои мысли убиты.

все, что я могу тебе дать, —
это только слова:
провести невзначай по щеке —

будто в прорубь шагнуть с разбегу.
ни за что не решусь живьем.

обожаю минуты, когда
я в истоме и легкой тоске,
и ласкаю своим жестковатым,
полулитературным твое
набухающее от важности эго.

р. с. мои жесты всегда – почти.
мои взгляды не терпят жалости.
мои строки просят: прочти
и молчи. и молчи. пожалуйста.

«если ты блюдо...»

если ты блюдо,
то я последний гурман,
вконец потерявший рассудок.

если ты дурь, то
я сторчавшийся наркоман:
исколотой куклой вуду
шатаюсь в поисках дозы.

если ты лихорадка —

то я безнадежный больной,
но боль моя стала сладкой
и даже почти родной.

а если совсем серьезно —
ты все, что во мне осталось,
и я не жду ничего.

но если любовь – это танец,
то я хочу, чтобы ты вел.

«пока модели едят свое ничего на ужин...»

пока модели едят свое ничего на ужин,
а толстухи завистливо смотрят в витрины кафе,
я отчетливо осознаю: мне никто не нужен.
даже ты. жаль, не мой, но любимый трофей.

я готова была отдать свою лучшую музу,
получив тебя настоящего вместо нее.
я готова была разгребать твой душевный мусор
и по-детски бояться остаться вдвоем.

я готова была сочинять на ходу не в рифму,
на твоём предплечье от нежности умирать
и дышать в учащенном дичайшем ритме.

воровать поцелуи. знакомым врать:
«ой, да ладно вам, ничего между нами нет!»
и надеяться, что ты думаешь обо мне.

а меня окружают до боли смешные люди,
объясняющие, почему мне нельзя курить.
знаешь, в чем преимущество сольного рукоблудья?
в том, что после не нужно ни с кем говорить.

«на горизонте Останкино...»

на горизонте Останкино.
снизу – шоссе. чашка чаю.
руки мерзнут, деревья седеют желтым.
осень снижает ставки на
прошлый апрель. скучаю
до способности в спину орать «пошел ты!».

город силится спать, торопясь огнями
скрыть усталость железных холодных век.
я запуталась в том, что теперь между нами,
но тебя слишком много в моей голове.

просто холодно. нет никаких трагедий.
счастье знать, что ты есть и
сейчас, на одном из ста тысяч балконов,

точно так же стоишь, обо мне не помня.
не мешаю. ты слишком красив свободным.
этим можно согреться.

Городами

* * *

Нева во льдах, набережные – в огнях.

холод, как в детстве, обжигает щеки.

за гранитом набережных останавливаешься у реки, защищаешься от шумового натиска машин и слышишь, как недозрелые льды не доживают до весны.

* * *

– билет Санкт-Петербург – Москва, пожалуйста...

– вам в один конец?

– да.

* * *

февраль, наконец-то. не морозно-оптимистическая подделка, а настоящий, депрессивный, серый-ветренный, с мок-

рым снегом и слякотью, люблю его нежно, как осужденный своего палача.

* * *

три дня пешеходить Васильевский остров в ветреную погоду рубежа весны – удовольствие редкое.

казалось бы, непоколебимая логика василеостровских линий иногда дает сбои.

старые дома – это большие расстояния, и, конечно... как же прекрасен этот остров на рубеже, в звенящем ожидании весны, в этом почтимарте! если бы у меня был фотоаппарат, встроенный в сетчатку, я бы показала вам это великолепие, но – придется сохранить эту красоту у себя, и, честно говоря, не очень я и жалею по этому поводу.

* * *

был чудесный больной октябрь, когда чувствуешь жизнь, как амеба – химический раздражитель, эти желтые листья, небо, солнце, в лучших традициях Левитана, только лучше: обожаемое мною динамичное урбо, когда, даже в условиях всепетербургского уныния и размеренности, сердце меж ребер подтанцовывает дикую джигу и дух захватывает, как от первой в жизни сигареты.



янтарные фонари и уютные огни, от всего исходит тепло, предчувствие чуда в предчувствии осени...

обожаю троллейбусы, конечно, еще и трамваи, за то, что они лишены спешки и скученности людей, гуманность в уважении к личному пространству. прелесть неспешности.

я села, как обычно, у окна, купила десятирублевый билет за золотую новенькую монету, билет оказался несчастливый, но на обратной стороне не было рекламы, а был следующий текст:

идеальное время никогда не наступит, вы всегда либо слишком молоды, либо слишком стары, либо слишком заняты, либо слишком устали, либо еще что-нибудь.

если вы постоянно беспокоитесь о выборе идеального момента, он никогда не наступит.

цени момент.

я верю в чудеса, я верю, что такие записки приходят многим, но только тот, кто обращает на них внимание, является подлинным адресатом.

* * *

запах – это очень важно.

это то, что останется в твоей памяти, даже когда краски сотрутся, а имена забудутся, впрочем, имена забываются первыми,

это то, как пахнет время.

* * *

ночами, нагло-белыми, невыносимыми, трогаю пальцами время, не в состоянии остановиться, терблю его, как последнюю нить жизни, нет, не нить – струну, стальную, подобную тем, что так нерегулярно терзают подушечки моих пальцев и успокаивают душу, черный телефон на стене, дворквadrat в окне, старая сырая парадная, синий «честер», капли по лицу, музыка, рвущаяся изнутри, холод-холод-холод... какой-то никчемный чужой непраздничный праздник, снова холод.

Одновременно

Сажу в кафе с Набоковым, пью свой кофе, пишу... жестом прошу счет.

подходит официант, улыбается, кивает на тетрадку:

– письмо дедушке пишете?

– ага, дедушке морозу...

– и как, сбывается?

– а то!

– а вы прочтите мне, чтобы я знал, как писать, чтоб точно сбывалось...

– главное – искренне, то, что думаете, пишете.

– а вы так много написали... много думаете, значит... наверное, эрудируете часто?

– о да! каждый день эрудирую, пока никого нет дома.

* * *

– вы близко общаетесь сейчас с ней?

– ну, на прошлой неделе я выпила весь ее бар и потребовала денег на такси... видимо, близко.

* * *

главное, чтобы не было так:

– кто отец твоего ребенка?

– Джек...

– ???

– Джек Дэниэлс.

* * *

...и мы почти одновременно перешли на виски, на ты и в его комнату.

* * *

кажется, у меня ослабевает воля к жизни, это я поняла по исчезнувшему желанию курить...

* * *

«я в щщи. сегодня весь день пью и читаю один и тот же роман!»

это мой приятель, прожигатель жизни и ловелас, добрался до Буковски...

* * *

хочу напиться, до потери самосознания, стыда и, возможно, макияжа.

* * *

есть люди, которых за их наглую довольную морду и острый язык хочется избить, но вдруг ты понимаешь, что последнее слово в предложении лишнее.

* * *

любопытная вещь из детского сознания.

когда мне было года, наверное, 4, я думала, что слово «Цой» нехорошее, потому что его писали на стенах и заборах, и потому что оно ТОЖЕ ИЗ ТРЕХ БУКВ, а не менее часто встречающаяся надпись «В. Цой» мне казалась совсем нелогичной, во-первых, из-за точки после предлога, во-вторых, из-за какой-то неправильной падежной формы ругательного, как мне тогда казалось, существительного.

вероятно, я была очень интересным ребенком.

Железная стена понимания

* * *

Я хочу, чтобы Париж, середина XX века, мы сидели в ка-

фе на Монмартре, за окном на мостовую лил дождь, мы пили вино... и чтобы я была Эдит Пиаф

* * *

этот человек читает меня как книгу, и более того – не смотря в строки, угадывает, что будет дальше, и он знает, что между строк.

* * *

однажды начав эту череду предательств (помните у Кундеры?), ты уже не можешь остановиться, выбирая лишь то, что тебе действительно надо, оставляя ненужный город, расставаясь с надоевшими приятелями, с которыми больше не о чем говорить, выбрасывая старые джинсы...

сначала это происходило легко и как-то само по себе, но, чем дальше, тем ценнее каждый день, минута... поэтому надо учиться рубить резко, четко и с хрустом.

* * *

осознание своей всеобъемлющей внутренней пустоты растет и распирает, как пустота может давить изнутри? может, она более насыщенная, чем эта ваша киселевая любовь,

которую вы так холите и лелеете, чтобы не оказаться лицом к лицу сами с собой? или – вы мудрее меня, можете жить счастливо?

* * *

мне скучно общаться с людьми, скучно быть с собой – сами понимаете, к концу записи вам надоест эта моя пластинка, а человек внутри меня крутит ее круглые сутки.

вечно раскалывающаяся голова из-за злополучных сосудов и традиционной пачки крепчайшего табака в день, с этой болью невозможно спать, невозможно дышать, к этой боли нельзя привыкнуть.

пора прекращать, прекратила, теперь у меня нет этого маленького удовольствия – дымить...

* * *

я сделала и это.

не могла молчать, вот и сказала, страшные-5-букв-первая-л.

тут реакция не важна, просто сказать, реакции не видела.

потому что сказала я об этом чаю, стоящему передо мной, чай не отреагировал никак.

я боялась посмотреть в эти глаза, потому что в моем взгляде могло быть слишком явное желание взаимности, даже – требование.

ну, впрочем, похоже, я наткнулась на железную стену понимания.

* * *

...растерять друзей, ощущения, себя... мечтать о прошлом,

ненавидя пресное настоящее, от которого все равно уже никуда, это как закрыть себя на замок в комнату и выбросить ключ в маленькое окошко, в которое воздухом, разъедающим легкие, кусочками, молекулами, запахами проникает нелепая, ненужная, ядовито-сладкая... – свобода...



Ольга Редкоп
Казахстан, г. Тараз



Несоединяемое не соединяется. Сетевая миниатюра

Пальчики в дрожь по клавиатуре. Белые буквы на черных кнопках – символично и как-то по-школьному. Не оттого ли каждый день учусь любить тебя заново?

Я – в удаленных.

Arrogante¹ (15:29:03 2/12/2007)

Знаешь, я прочитал все твои сообщения. Ты больше не пишешь в пустоту. Тебе ведь важно, чтобы тебя читали, верно?

Consuelo² (15:32:55 2/12/2007)

Мне важно выплеснуть наболевшее. Это как у матери – застоявшееся молоко начинает болеть в груди. Причем не просто сама грудь ноет, а именно молоко – его не пускают насыщать связанный генами и любовью, всеми человеческими и нечеловеческими инстинктами кусочек тебя, и ему больно – оно ненужно. Так и здесь – я разливаю свою эгоистично нерастраченную нежность по строгим линиям строк, потому что до тебя не достучаться. Я – в удаленных.

¹ Arrogante – Гордый (исп.).

² Consuelo – Утешение (исп.).

Arrogante (15:35:03 2/12/2007)

Иногда мне кажется, что ты меня ненавидишь. Я чувствую твою боль, душевную, множащуюся, в каждой букве. Ты творческая натура, а творческие люди тонки, но я не такой, я не могу так.

Consuelo (15:47:55 2/12/2007)

На абсолютное авторство не претендую, но вот одна из выношенных мной идей: любовь может уживаться с любым чувством, в пересечении с самой собой изменяя и подгибая его под себя. Она даже может схлестнуться с ненавистью, но сосуществовать параллельно они не смогут, слишком сильны оба и претендуют на первенство. Это как в паре – всегда есть доминанта и ведомый, поскольку двух ведущих быть просто не может, и тут выбор – либо принимай, либо разрывай единство. В то же время любовь не может существовать отдельно от ненависти, поскольку обостренному любовью организму свойственно бросаться в крайности, и ненависть (причем порой не столько к объекту любви, сколько к ее субъекту) подпитывает чувство, не позволяя ему угаснуть. Но это и хорошо – именно неустойчивость и нетолстокожесть не дают удержаться на одном месте. И даже если придется падать, то падение будет не от грубого толчка в спину, а от полета, слишком зависившего планку высоты. Проще говоря: любовь стоит жертв. Ненависть – нет. Поэтому любить нужно даже несмотря на кратковременные вспышки

гнева. Ибо ненависть – скоропалительна и изнуряюща, а любовь – целительна и вечна.

Это ответ на твой вопрос. В любви нет тавтологии, и я не боюсь повторов. И если бы ты спросил меня, как именно я люблю тебя, я бы ответила: всегда.

Arrogante (16:01:03 2/12/2007)

Может быть, ты слышала такую поговорку, любовь как песок: сожмешь – просыплется сквозь пальцы, откроешь – улетит, как голубь. Вот так и я стараюсь сбалансировать все в отношении тебя.

Consuelo (16:11:55 2/12/2007)

Что именно ты пытаешься сбалансировать?

Arrogante (16:11:03 2/12/2007)

Ответ на поверхности. Повторю твои же слова: не ищи глубокого смысла там, где его нет. Я не пишу между строк. Читай прямо.

Consuelo (16:25:55 2/12/2007)

Я устала... Даже без смайлов...

Arrogante (16:53:03 2/12/2007)

Ты здесь?

Arrogante (17:02:03 2/12/2007)

Тук-тук!

Arrogante (09:33:03 3/12/2007)

Отзовись. Пожалуйста...

Arrogante (11:17:03 3/12/2007)

... – ставится тогда, когда все сказано и еще многое осталось впереди.

Consuelo (11:20:55 3/12/2007)

Да.

Arrogante (11:29:03 3/12/2007)

Я все пытался тебе сказать. Ты не в удаленных.

Arrogante (15:37:03 3/12/2007)

Ты – в избранных.

Пальчики в дрожь по клавиатуре. Белые буквы на черных кнопках – символично, как инь и ян. Недостающие элементы одного целого, которое называется одним простым и таким безыскусственным словом – мы.

Я не боюсь тавтологии, чтобы еще раз сказать тебе это. Я – тебя – люблю.

Навсегда.

Мадлен

*Quamquam in fundis inferiorum sumus, oculos
angelorum tenebrimus³.*

Двадцать пятое. Дата, фатальная для моей семьи. Отметила собой большинство смертей моих родственников. Даже при моей избирательно отторгающей негативное памяти не могли не оставить горчащего привкуса поминальной кутьи все те юни, октябри, апрели, августы и декабри разных лет. С завидной периодичностью множились металлические пластины на мраморных мемориалах семейного участка на городском кладбище – цикл начинался, длился и обрывался автоматически. Может, именно поэтому я в подобных случаях не терялась, а механически точно и выверенно организовывала и транспорт, и отпевание, и поминки, которые традиционно мы проводили в кафе, – никогда не забуду затоптанный пол кухни после похорон моей бабушки и маму, со слезами размазывающую грязь невыжатой половой тряпкой. Тогда я молча сжала губы, увела маму в комнату, и с тех пор никто больше не видел, как я плакала с черным кружевом в волосах. Только вот почему в этих лайкровых колготках и сером обтягивающем джемпере я похожа на большую раненую птицу? Почему на мне не надета юбка, и я сижу пе-

³ Пусть пребываем мы на дне Ада, но видим мы глазами ангелов (лат.).

ред зеркалом, обхватив колени, и бессмысленно подпеваю в «Бесконечность» Земфиры? Наверное, что-то случилось... То, из-за чего я вылила на себя полфлакона «Homme Egoist» и со слезами внюхиваюсь в запястья... Что-то нехорошее. Очень. Я вспомнила.

От меня ушел муж.

Вчера его похоронили.

Владилен спал очень спокойно. При моем невыдержанном характере я могла растолкать его, даже если он громко дышал, тем самым мешая мне уснуть, но Влад редко доставлял мне подобные беспокойства. Я часто просыпалась и смотрела на него в темноте, разглядывая морщинки на лице – скорее мимические, чем возрастные, – и старалась впитать в себя как можно больше его. Звучит странно, наверное, но его отсутствие причиняло мне почти физическую боль, и я, словно вампир, заучивала каждый его взгляд, жест, поворот головы, манеру улыбаться – иронично и немного насмешливо. Я помнила наизусть все наши встречи, все его слова, сказанные в мой адрес, по памяти могла воссоздать даже его запах. Да что и говорить, я была влюблена безумно. Влад был для меня большим, чем я могла это осознать.

Я переставила будильник на полчаса раньше и снова легла, машинально обняв Влада за шею.

Обстоятельства нашего знакомства никогда не казались мне тривиальными. Я собирала материал по вопросам финансирования НИИ в российской глубинке, когда в одной из служебных командировок попала в лабораторию термодинамических процессов, возглавляемую давним моим интернетовским знакомым. Пал Саныч, назовем его так, регулярно снабжал меня парочкой неприлично скандальных материалов, которые, при необходимости, раздувались до вполне приличного журналистского расследования. Ну и, как следствие, довольно внушительного заработка. Это ведь только у Чехова «Краткость – сестра таланта», у нас же она – враг гонорара. И вот, в пылу моего интервью с Пал Санычем, длившегося уже более трех часов, на моем диктофоне села батарейка. Пришлось справляться старыми бабушкиными методами, а именно ручкой и блокнотиком, с которыми я никогда не расставалась, мало ли что... Однако когда я оторвалась от окуляров, чтобы наконец записать выводы

Пал Саныча о роли энтропии во втором законе термодинамике, ручка моя, пардон, чудесным образом дематериализовалась. То есть, попросту говоря, в поле моего зрения находилось все что угодно, но только не жизненно необходимая мне и моему непогашенному кредиту пластмассовая штучка. Естественно, я оторвалась на ближайшем сотруднике Пал Саныча, который настраивал генератор магнитных полей и минуты две смотрел на меня, просто улыбаясь и не говоря ни слова. Потом вынул из нагрудного халата обыч-

новенную авторучку и так же молча протянул ее мне. Разумеется, мне стало неловко от такого проявления моей бестактности, и по окончании интервью я пригласила Владилена на чашечку кофе и пару бубликов в околоинститутское кафе, гордо именуемое комнатой психологической разгрузки. «Чашечка кофе» плавно переросла в совместный завтрак и жуткий нагоняй от шеф-редактора за безбожно затянутый материал.

Следующий Новый год мы встречали вместе в моей московской квартире.

Да уж, радости от этого пробуждения я не испытывала. Более того, с мазохистским удовольствием натянув гетры и запахнувшись в полы розового махрового халата, я побрела на кухню ставить кофе. Владилен абсолютно не признавал растворимые разновидности этого напитка, и мне приходилось вставать на пятнадцать минут раньше, чтобы к его пробуждению кофе был уже готов. Это была традиция, и за все три года нашего брака я еще ни разу ее не нарушила.

Привычку пить настоящий молотый кофе Владилен привил мне еще в период ни к чему не обязывающего знакомства. Я наизусть выучила все сорта, которые он любил, и, как одержимая, кидалась на все кофейные новинки, появляющиеся в супермаркетах и магазинчиках на пути моей погони за очередными строчками в номер. Нашим любимым местом в городе, где мы обычно встречались по вечерам, была

маленькая кофейня «Мадлен», ютившаяся как раз за углом по улице, где располагалось трехэтажное здание моей редакции. Впрочем, кажущаяся незначительность «Мадлен» была обманчивой – народ собирался здесь исключительно избирательный и, в основном, творческий. В общем, половину завсегда я знала, а с половиной знакомилась позднее ввиду специфики работы, просто обязывающей выискивать очередных героев для инициированных сенсаций. Владу же кофейня нравилась за исключительно простой интерьер и на самом деле вкусный капучино. Как раз такой, какой я готовила для него каждое утро.

– Я не слышал, как ты вчера легла, Камил. А я сам чертил до часу, – спокойно заметил Владилен, выкладывая нарезанные ломтики сыра на хрустальную подставку. – Долго сидела?

Надо же, даже время засекает. Физик, что тут поделаешь.

– Нет, минут сорок, наверное. Сам знаешь, когда вдохновение нападёт, от него не отобьёшься, – отшутилась я.

На самом же деле вдохновением и не пахло, и я никак не могла додумать название статьи для завтрашнего номера. Сроки не просто поджимали, а буквально верещали над ухом эсэмэсками от шефа, грозившегося снять премиальные за срочность материала. Он опаздывал уже на двое суток, что, в масштабе ежедневника, было абсолютно недопустимым.

– ... тебя устроит? – случайно умудрилась поймать конец фразы Влада.

– Прости? – дернулась я и едва не пролила кофе.

– Я говорил тебе, соня, что заеду за тобой в обед, будь готова к двенадцати.

– Я постараюсь, – вздохнула я. – Очень. Сам же знаешь, у меня статья горит. Надо в край ее доделать. И двух бабулек сегодня снять. Раньше часу никак не управлюсь.

– Хорошо, – скептически хмыкнув, отозвался Влад. – Ты позвони, как освободишься, я приеду.

Он накинул черное полупальто и поцеловал меня в макушку.

– Я убежал, Камил, пора. Удачи, сонц.

Я помахала ему рукой, допивая кофе, и услышала, как в прихожей щелкнул замок. Ушел. Сейчас бы обратно в кровать... Я зашла в спальню и вытащила из шифоньера обтягивающий серый джемпер – сегодня тепло, вполне можно обойтись им и плащом. Вот только юбку бы еще подобрать к нему... Я подошла к зеркалу как была, в джемпере и колготках, прикидывая черную кожаную юбку, как вдруг что-то меня стукнуло. Так же, в том же виде я сидела в прихожей и плакала, потому что мой муж умер. Авария. Сочувствующие глаза мамы и разлитый по стенам «Homme Egoist». Я вспомнила. Не может быть. Это просто не может произойти с Владом.

Всю неделю меня не отпускало навязчивое чувство deja-vu. Я словно наяву видела детали похорон, свое серое ли-

цо с нулевым – выплаканным – макияжем, неискренние де-
журные соболезнования проигрышем на фоне ритмичного
постукивания в висках «нет... его нет...». Странность виде-
ний заключалась еще и в том, что они были отрывочными –
настоящее вперемешку с будущим, причем настоящее имен-
но мое, реальное, происходящее. Дежавю не было для меня
чем-то экстраординарным, оно случалось у меня раза два-
три в месяц. Потом синдром дереализации стусевывался,
выскакивая, как чертик из коробочки, именно тогда, когда
я меньше всего ожидала его повторения, – пожалуй, наибо-
лее точное слово для обозначения этого феномена. Случа-
лись у меня и двойные дежавю; в таких случаях я точно пом-
нила или знала, что переживала ощущаемое дважды. Слиш-
ком сильно я не заморачивалась по этому поводу; способно-
сти к дежавю передавались у нас в семье по женской линии
и были вполне нормальным явлением. Уже гораздо позже,
во время учебы в институте, я прочитала заключения одно-
го психотерапевта о том, что дежавю – это серьезное откло-
нение в работе головного мозга, потенциально вызывающее
развитие шизофрении. Дисфункция синхронной обработки
информации правым и левым полушариями приводила, по
мнению врача, к некорректному воспроизведению уже запи-
санных данных, что, в свою очередь, и обозначалось терми-
ном дежавю. Согласно теории дуализма существовал и син-
дром жамевю – ощущение никогда не виденного, ведь ес-
ли можно вспомнить прошлое, то, при наличии определен-

ных усилий, можно считать информационное поле планеты и вспомнить... будущее?

Дежавю толковалось неоднозначно. Это могло быть признаком закономерности и правильности действий либо своего рода предупреждением о грядущем. Одно из объяснений, которое я слышала, еще будучи школьницей, гласило, что, когда мы очень стараемся забыть какой-либо промежуток времени (день, к примеру), мы тратим очень много энергии, и даже если нам это и удастся, некоторые моменты произвольно всплывают в памяти. Это неподконтрольное узнавание себя в аналогичных ситуациях. Лично я была склонна воспринимать дежавю как память прошлых жизней и благополучно забывала о них сразу по их истечении. Но только до тех пор, пока дежавю не случилось с Владом.

И я отчаянно старалась прокрутить события назад, сложить стекляшки калейдоскопа вместе и вспомнить обстоятельства, предшествующие его гибели.

Разумеется, Владилен ничего не знал о причинах моей рассеянности. Он списывал это на загруженность работой, мой уход «в себя», когда я писала, и даже если я и рассказала бы ему о мучавших меня страхах, он бы просто не воспринял это всерьез. В противоположность мне Влад списывал все причинно-следственные явления только на события точного характера, а к моим увлечениям вроде составления психоматриц (основы нумерологического анализа) относился как к легкой забаве. Хотя и не мешал мне этим занимать-

ся. Единственно, как бы отреагировал Влад, – он бы настоял на срочном отпуске и отъезде куда-нибудь в теплое местечко, чтобы теплый морской воздух выветрил мрачные мысли, которыми я до ненужности забивала свою «очаровательную головку». Наш брак был из разряда тех, что называют благополучными, хотя ссоры временами случались. Пару раз мы были близки к тому, чтобы разъехаться по разным квартирам, – слишком сложно нам было уживаться с такими разными характерами, тем более с настоящими скорпионьими привычками Влада. Это ведь только в физике противоположности притягиваются, а для совместной жизни нужно даже большее, чем банальное совпадение характеров, но по какой-то непостижимой причине мы оставались вместе. «Судьба, наверное», – размышляла я, а Влад, как обычно, недослушав, легонько начинал покусывать меня за мочку уха, и у меня пропадало всякое желание разговаривать с ним на эту тему. Да и разговаривать вообще.

Потому что одной рукой он придерживал меня за талию, а другой пытался стянуть с меня свитер. Этим и заканчивались наши ссоры. Сны и короткие образы, вспыхивающие в моем сознании, неумолимо превращали все происходящее в сюрреалистичные картинки. Бред. Я бы тоже так подумала, если бы это не происходило со мной. Вместе с тем мне стало до асфиксии не хватать Влада, я боролась с желанием позвонить ему и убедиться в том, что он еще... рядом. Так сильно любить нельзя, как-то сказала мне мама, самое доро-

гое неизбежно отнимают, если его выделять над всем остальным. Но тут была не просто банальная привязанность. Я чуть ли не в буквальном смысле сходила с ума, пытаюсь понять причины дежавю, не отпускаявшего меня так долго, – минуты не шли ни в какое сравнение с часами, когда я видела Влада с погребальной лентой на голове, а на настенном календарике красными кружочками были обведены две даты с примечаниями «9» и «40». Я сидела перед зеркалом, заплаканная и не одетая, будто в вате, и физически ощущала, как мне не хватает присутствия Влада, его запаха, уюта его объятий, чувства покоя и безопасности, которое окутывало меня, когда он был рядом... Я бы, не задумываясь, оказалась на его месте, поменялась бы с ним ролями, но чужую судьбу не себя не примеришь, даже если это судьба самого дорогого человека. Антидепрессанты не помогали, а обращаться к врачу я не хотела и боялась. Событийность дежавю разворачивалась по отдельным кадрам. В них появились незнакомые люди.

Я вспомнила. Все случилось в «Мадлен».

Влад ждал меня уже около получаса на стоянке возле редакции. В здании оставались только дежурные редактора и ответсекретари; все остальные уже разошлись по домам. Я дописывала срочный материал о городских спортсменах, несших олимпийский огонь, – интервью было эксклюзивным и должно было выйти в завтрашнем номере минимум на сут-

ки раньше до того, как аналогичные статьи появятся в других изданиях. Поэтому последние часы были особенно дороги – нужно было успеть до редактирования сверстанного макета газеты, и у меня совершенно вылетело из головы, что мы с Владом договорились поужинать в «Мадлен» после работы. Я вспомнила об этом, когда до встречи оставалось десять минут, и я элементарно не укладывалась в сроки, ни чтобы добежать до кофейни, ни, уж тем более, доработать статью. Вот поэтому Влад и ждал меня внизу.

С облегчением кинув по сетке готовый материал верстальщикам, я наспех накинула плащ и, даже не застегнув его, побежала вниз по широкой лестнице, цепляясь за мраморные шары на перилах. Обычно я всегда так делала, но сейчас почему-то возникло ощущение повторности происходящего. Я нагнулась поправить молнию на сапоге и вдруг... Поворот за угол... Неоновые вывески «Мадлен»... Эксцентричного вида подросток на массивном «Харлее», с размаху вписывающийся в правую переднюю дверь нашей машины... Тоненькая струйка крови на моем джемпере... Влад, насмешливо улыбающийся разбитыми губами... И я точно знаю, что больше он так улыбаться не будет...

Я каблуком соскользнула со ступеньки, и последнее, что мелькнуло перед моими глазами – испуганное лицо пожилой вахтерши, кричащей что-то неразборчивое.

Никогда бы не подумала, что Влад может плакать. Или

краснота его глаз объяснялась хроническим недосыпанием – он не спал несколько ночей, пока меня не перевели из реанимации в палату, где мне предстояло пролежать еще несколько недель после серьезной операции на голову. Сотрясение, которое я получила, отразилось не только на мне (мои чудесные локоны сбрили для проведения трепанации черепа), но и на Владе – с какого-то чуда он вдруг стал увлекаться эзотерической литературой, немного сместив акценты с техники на мистику. Я же абсолютно утратила способность к дежавю. Чем это объяснить – нет ни малейших догадок. Может быть, операция на мозг так повлияла, а может, я и так видела достаточно и большее мне было просто не нужно. Как бы то ни было, но в тот вечер, двадцать пятого октября девяносто восьмого года, около кофейни «Мадлен» действительно произошла авария. Не справившись с управлением, девятнадцатилетний студент музыкального училища врезался на мотоцикле в угол здания. Что удивительно, парня выкинуло на обочину, а мотоцикл протатило еще пару метров будто какой-то неведомой силой. Больше пострадавших в инциденте не было, у парнишки зажила сломанная рука, и он снова сел за отремонтированный мотоцикл. Памятуя поговорку «Все хорошо, что хорошо кончается», я даже рассказала Владу о своих дежавю, причем его реакция сильно меня удивила – он ничего не сказал, а только крепко обнял меня и серьезно произнес: «Никогда больше так не делай». Я так и не поняла, что он хотел этим сказать. Все действительно закончилось

вроде бы хорошо.

Вот только почему у меня все чаще появляется ощущение, что я не живу своей собственной жизнью, а будто вижу ее со стороны? Откуда-то сверху?

Олькины сказки

Черный свет

Было темно и колюче в сто пятом круге.
Падали звезды, любовью взрывались вены.
Это ничуть не похоже на дантовы муки.
Много сильнее. И в это нельзя не верить.

Было темно. И не праздно горели лампы.
Отсветы желчи плевали мне прямо в душу.
Я угадать пыталась в бокале с «Фантой»
Судьбы воды до ее превращения в сушу.

Было темно. Я со страхом ждала рассвета.
Часа, который единство на два разлепит.
Я рисовала черным полосы света.
Ты уходил, нули превращая в цепи.

Было темно. На земле остывали камни.

Розы за ночь покрывались налетом снега.
Я повторяла заученной старой мантрой
Имя твое. И любовь уходила в небыль.

Облака

А в Германии быстро по небу бегут облака...
Как же раньше я этого – веришь? – могла не заметить...
Все проходит. И руку другая сжимает рука,
И за осень разорванной сказкой мы вряд ли в ответе.

Я все время смотрю на деревья – там бледная нить.
Перечеркнуто небо несчетным числом самолетов.
Это так по-людски – не сумеешь ничего сохранить
И поставить на завтра двадцатую точку отсчета.

За стеклом электрички альпийские горы и снег,
И, в пальто из мохера укутавшись, медленно стыну.
Опускаю глаза. Отпускаю – тебя уже нет —
Я любовь мою в дым облаков, пробегающих мимо.

Лето

девочка – кукла

немного ветер немного кремень
ребенок ли взрослый
все одинаковы
лица на утро
в чужой постели

а кто-то просит о тени
но солнце жарит
и каждый хочет быть с теми
кто любит
кто – понимает
и что ценнее —
пить ли не пить
благость
просить смело менять
смену
сцену
плакать
размазывать мысли
по блюдцу
карябать вилкой
заматывать
красное
синее
тело
чужой простынкой
просить – умолять – кричать – плакать
потом
прижиматься к единственно верному

папа!
в фатиновом облаке скрыться
ладонь на лицо
от света

а в двух шагах от тебя
никому до тебя нет дела
июнь.
лето.

Стеклянный город

стеклянный город
я разбиваю твои мостовые
прости
в твоей воде милые безыскусные простые
сны
те что не повзрослели не заставляют бояться
ждать
счастья на якоре посреди всего этого блядства
выживать
не просто не нужно не – возможно?
прости
стеклянный город
я разбиваю твои мосты
выложенный по кирпичикам

бастион
в мой детский, синий-синий
прозрачный сон
мне странно холодно страшно
зябну – жуть!
стеклянный город
закупорил мне кварцем легкие
не вздохнуть
в темную воду уходят
тонут
стонут
фонари
не томи враг мой
друг мой
стеклянный город
отпусти
ребенок просит
не дай сломать его
отпусти допрежь⁴
покуда чист неиспорчен светел свеж
ты ведь знаешь
стеклянный город
логос врет
кладет замусоленную облатку
в детский рот
не плачь мальчик
оно вечно – Божье
писаное от руки

⁴ Допрежь (наречие) – прежде, перед сим.

стеклянный город
пожалей меня
по-мо-ги

Души

Город пустел. Килограммами снега
Бились в нещадно промерзшие окна
Руки чужие фотонами света,
Души домов разрывая на стекла.

Небо акрилом шурилось в лужи,
Тени бросая под прутья трамвая.
Звезды горят стетоскопами в души —
Души людей в поисках рая.

Чаши весов – однозначное бремя,
Лики божеств темно-красной подводкой.
Души вечны. И стирается время
В бледный фантом уходящего года.

Переменная

Бесконечность неверна в системе пяти уравнений.

В тебе больше вопросов, чем можно логически
высчитать.

Даже если принять за константу доказанность мнения,
Что в итоге достаточность счастья сумеется выстрадать

Я устала ломать твои рамки и ждать снисхождения,
Слишком хрупки границы очерченных набело графиков.
Я еще бы надеялась (вдруг) на твое появление,
Колдовала б возможность блаженств по твоим
фотографиям,
Не искала пути отступлений и верила в лучшее,
Абсолютность значения «вместе» взяла бы за верное.
Только ты – это дело счастливого все-таки случая...
И ты просто не можешь остаться.

Ты – переменная.

Сказочник

Обними меня, сказочник,
Дай прикоснуться к счастью,
Растревожь мне дыхание
Яростным светом моря.
Оттого ль невозможность тебя
Разрывает меня на части,
Что тебе я сдалась без всякой

Войны и боя?

Я в мозаике цифр гадаю

Твои рассветы,

Я зову твою небыль,

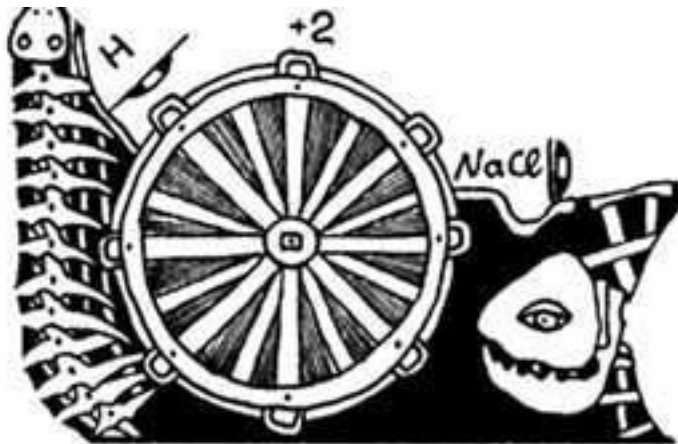
В пепел сжигая связки.

Обними меня, сказочник,

Мой неразумный, где-то

Заблудившийся мой

В апогей ненаставшей сказки...



II. Про то и про это

Юрий Максименко



Александр Галяткин



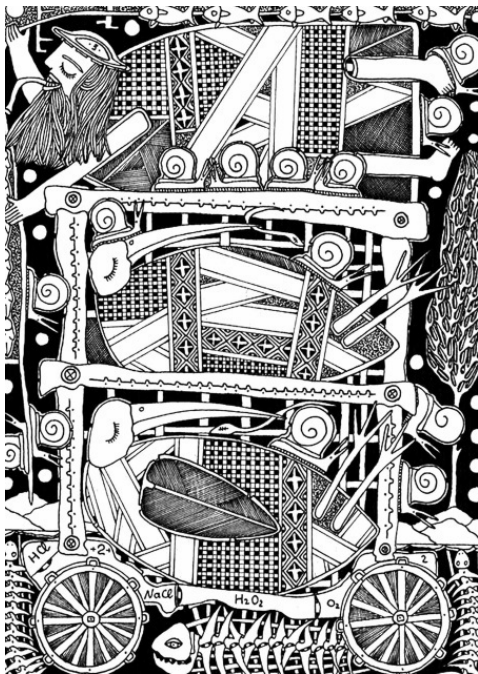
Люба Лебедева



Евгений Вишневский



Юрий Максименко
Беларусь, г. Гомель



Нос в командировке

Нос там, нос сям

Однажды Нос, сбежавший от коллежского асессора Ковалева, явился к графу Алексею Толстому и стал жаловаться на Гоголя: мол, и общество у него дурное, и достаток низкий, и пишет он всякие несуразности... И предложил свои услуги автору «Гиперболоида» и будущего «Золотого ключика».

– Возьмите меня, светлейший граф, не пожалеете.

– Зачем вы мне нужны? – недоумевал писатель. – У меня и собственный нос имеется. Он-то чует за версту, что с вами, уважаемый, связываться не стоит: если вы бросили Ковалева с Гоголем, то где гарантия, что вы меня не кинете?

Нос заглянул в рукопись «Золотого ключика»:

– Вашему Буратино я был бы незаменим...

– Не суйтесь, куда вас не просят, – сказал Толстой и выставил Носа за дверь. С тех пор его видят в Петербурге то там, то сям. Говорят он работает «литературным негром» у разных писателей. А когда наваял Брежневу «Малую землю» и «Целину», Николай Васильевич восстал из мертвых, схватил Носа в передней у очередного работодателя да и поволок за собой. Но время от времени призрак Носа видят то там, то сям. И не только в Питере...

Нос у зайца

Однажды Церетели в страшном сне привиделся гоголевский Нос, скачущий верхом на будущем известном скульпторе. Проснулся он в холодном поту и... побежал в мастерскую. Неделю не выходил из нее – сваял трехметровую копию серебряного зайца Фаберже. Путину дарил, Лужкову дарил, мэру Нью-Йорка дарил – все вежливо отказались. И только мэр Баден-Бадена не смог выдержать напора Церетели. С тех пор исполинский заяц стоит там. Говорят, в ненастную погоду у зайца появляется статский советник Нос и криво ухмыляется, глядя на церетелиевскую громадину.

Нос в командировке

Майора Ковалева однажды спросили:

– А где же ваш Нос, милостивейший сударь?

– В командировке, – не задумываясь ответил Ковалев.

Нос в отсутствии Хлестакова

Однажды Нос поехал по России-матушке – в командировку. Остановился в одном заштатном городишке, вышел в ресторанцию и нос к носу столкнулся с Бобчинским и Добчин-

ским.

– А что, братцы, – спрашивает, – есть у вас приличные места, где можно отобедать?

А Бобчинский возьми и ляпни:

– Конечно! Например, у городничего нашего Антона Антоныча.

– Надо бы к нему визит нанести наперед, – сказал Нос.

А Бобчинский с Добчинским помчались к городничему быстрее ветра:

– К нам едет ревизор! К нам едет ревизор!

Незамеченный никем Хлестаков в этот день отобедал в номерах тремя корочками хлеба...

Нос во всероссийском розыске

Однажды коллежский ассессор Ковалев пришел в гости к Гоголю и пожаловался, что у него нос пропал. Рассмеялся Николай Васильевич: «Может, ему у вас между глаз скучно стало и он по Питеру решил прокатиться... Ну пропал нос... Эко горе, эка невидаль... Вот если бы от вас голова ушла... А нос – не такая уж важная птица!»

Возмутился Ковалев: «Как же не важная? Вон народ сколько пословиц и поговорок сочинил о нем. Не стал бы он о пустом месте так много говорить...»

– Неужели много? – не поверил Николай Васильевич.

А Ковалев считает да пальцы на руках загибает:

– Всякая птица своим носом сыта. Это раз... Этот нос для двоих рос, а одному достался. Это два... Куда шестом не достанешь, туда носом не тянись. Это три... Не тычь носа в чужое просо. Это четыре.... Кабы у дятла не свой нос, никто бы его в лесу не нашел. Это пять... Береги нос в большой мороз. Это шесть... Сметлив и хитер – пятерым нос утер. Это семь... За спрос не бьют в нос. Нос не дорос, руки коротки... Нос с локоть, а ума с ноготь... Ну итак далее...

Рассмеялся Гоголь и говорит:

– Ладно, объявлю я ваш нос во всероссийский розыск... Нет, лучше в мировой.

И сдержал слово – написал повесть «Нос», которая прославилась не только Ковалева с его частью лица, но и самого Николая Васильевича.

Санчо Панса, Санчо Пушкин и Дон Кихот

*Лане Побалуй с благодарностью за вдохновение
и творческий азарт.*

Рыцарь похмельного образа

Дон Кихот проснулся с похмелья, но в хорошем настроении.

– А что, друг мой Санчо Панса, никаких подвигов не осталось, которые бы я не совершил ради прекрасной Дульсинеи Тобосской?

– Не осталось, – говорит Шурик Панса. – Мельницы вы все в окрестностях по пьяни поломали. Рогатый скот весь в виде овец и прочей живности в ущелье посбрасывали. Винные бочки все продырявили. А вчера встретили некоего Сервантеса, так ему такого о Дуське из Тобоса наговорили, что бедный писатель вместо пера за сердце схватился...

Загрустил Дон Кихот. С тех пор его и называют: Рыцарь печального образа...

Мельницы сдаются без боя

Однажды Дон Кихот был разбужен самым варварским способом – Санька Панса вместо петуха прокричал на рассвете:

– Вставайте, сударь, вас ждут и завтрак и... рассол.

– Так лошадь мою вроде Россинантом звать, – сказал печальный рыцарь, приходя в себя.

– Лошадь-то Россинантом звать, – согласился верный расолоносец. – А вот вас как называть после того, как вы вчера всех гусей в округе истребили, когда сеньор Сервантес попросил у вас всего одно перо?

– И что же ты меня не остановил, паршивец?

– Остановил. Так вы на последнюю мельницу в округе на-

бросились. Подняло вас лопастями вверх, а сеньор Сервантес закричал: «Сударь, сегодня вы на высоте!» Выматеритесь, а он хохочет да записывает, хохочет да записывает... «Пародию, – говорит, – пишу на рыцарский роман».

Пилите, Шура!

Однажды Дульсинея Тобосская попросила Дон Кихота и Санчо Пансу дров напилить. Дон Кихот и рад стараться – побежал, пилу притащил. А Санчо возмущается:

– Не рыцарское это дело – дрова пилить.

Дон Кихот поднес пилу к разрушенной мельнице и говорит:

– Пилите, Шура, пилите!

Санчо Пушкин

Однажды Санчо Панса привел к рыцарю печального образа маленького курчавого мальчонку.

– А кто этот живчик, Санчо? – спросил Дон Кихот.

– Это мой внучатый племянник из России – Санчо Пушкин. Будущий великий поэт.

– И чевой-то он приперся в такую даль?

– Он вам стишок в гишпанском стиле привез показать. Не робей, Санчо. Дай дяде бумажку.

Дон Кихот пенсне свое водрузил на орлиный нос и прочел:

Я здесь, Инезилья.
Я здесь, под окном.
Объята Севилья
И мраком и сном.

Исполнен отвагой,
Окутан плащом,
С гитарой и шпагой
Я здесь под окном.

– А мальчонка-то далеко пойдет! – прослезился Дон Кихот. И Санчо Пушкин действительно пошел...

Роман в стихах

Однажды Дон Кихот попросил Санчо Пушкина написать свою биографию.

– Позвольте, уважаемый дон, но книгу такую задолго до меня написал сеньор Сервантес.

– Вот именно, задолго... Старик выжил из ума и написал обо мне такую галиматью... Вот послушайте, что говорится в Большой Советской Энциклопедии: «Проехав целый день, он устал и направился к постоялому двору, приняв его за замок. Неказистая наружность идальго и его возвышенные речи всех рассмешили, но добродушный хозяин накормил и

напоил его, хотя это было нелегко: Дон Кихот ни за что не хотел снимать шлем, мешавший ему есть и пить. Дон Кихот попросил хозяина замка, т. е. постоянного двора, посвятить его в рыцари, а перед тем решил провести ночь в бдении над оружием, положив его на водопойное корыто. Хозяин спросил, есть ли у Дон Кихота деньги, но Дон Кихот ни в одном романе не читал про деньги и не взял их с собой. Хозяин разъяснил ему, что хотя такие простые и необходимые вещи, как деньги или чистые сорочки, не упоминаются в романах, это вовсе не значит, что у рыцарей не было ни того ни другого. Ночью один погонщик хотел напоить мулов и снял с водопойного корыта доспехи Дон Кихота, за что получил удар копьем, так что хозяин, считавший Дон Кихота сумасшедшим, решил поскорее посвятить его в рыцари, чтобы избавиться от столь неудобного постояльца. Он уверил его, что обряд посвящения состоит в подзатыльнике и ударе шпагой по спине и после отъезда Дон Кихота произнес на радостях не менее высокопарную, хотя и не столь пространную речь, чем новоиспеченный рыцарь». Сплошное вранье!

– А вы расскажите мне свою настоящую историю, и я напишу роман в стихах, – согласился Санчо Пушкин.

– Здорово! – обрадовался дон Кихот* – Обо мне еще никто не писал в стихах!

Целый месяц все свои вечера Санчо Пушкин посвящал рыцарю и его истории. И он, наверное, написал бы правдивую историю дон Кихота, но его отправили в ссылку... в Рос-

сию, где он написал почему-то совершенно иной роман в стихах – «Евгений Онегин».

Элементарно, миссис Хадсон!

Отбросьте все невозможное, то, что останется, и будет ответом, каким бы невероятным он ни казался.

Артур Конан Дойл

Закадычный враг

Однажды Шерлок Холмс и доктор Ватсон решили разыграть миссис Хадсон и сказали, что пригласили к ужину доктора Мориарти.

Что тут началось! Скромная тихая старушка превратилась в фурию – по квартире мечется, в Холмса и Ватсона тарелками швыряет:

– Да чем же их макароны лучше моей овсянки?! Злодей этот ваш Мориарти! У них там, на Сицилии, все – сплошные мафиози.

Пришлось Шерлоку с Ватсоном идти на поклон к Конан Дойлу, чтоб он из душики Мориарти сделал закадычного врага.

С тех пор Мориарти как подменили...

Этот вой у нас песней зовется...

Шерлок Холмс и доктор Ватсон пригласили на ужин Конан Дойла. Сидят, спаржу кушают, виски пьют, последние криминальные новости обсуждают. И вдруг сэр Артур сказал:

– Вечер перестает быть томным... А вы ведь, Шерлок, кажется, на гитаре поигрываете... Сбавьте нам что-нибудь!

– На скрипиче я поигрываю, сэр Артур... Это раз. Играю я в редких случаях, когда дело заковыристое распутаю... Это два. А в-третьих, поздно уже – соседи будут жаловаться...

Но Конан Дойл настаивал. Пришлось автору-творцу подчиниться. И только Холмс тронул струны – за стеной раздался вой.

– Что это? Кто это? – поинтересовался сэр Артур. – Неужели собака Баскервильей на болоте?

– Нет-с, – отвечает Ватсон. – Это миссис Хадсон на кухне воеет.

Так к Конан Дойлу нежданно-негаданно пришла задумка повести о собаке Баскервильей. А миссис Хадсон никто даже спасибо не сказал. Обидно за старушку!

Суший пустячок и пробелы в музыкальном образовании

Однажды, сидя у камина, доктор Ватсон и миссис Хадсон слушали музыку.

Вернулся уставший Холмс.

– Забавная вещица, – сказал он о музыке. – Что это?

– «Шутка». Моя любимая, – сказала миссис Хадсон.

– Мне смеяться? – не понял Шерлок и обратился к Ватсону: – Джон, что здесь происходит? Чем вы так увлечены?

– «Шуткой», – невозмутимо ответил Ватсон.

Уходя, Холмс недоумевал: «Никогда не подозревал, что миссис Хадсон ценит тонкий английский юмор. Но почему Ватсон не смеется, а как-то загадочно улыбается?» Когда он вышел к ужину, звучала другая музыка, в такт которой миссис Хадсон пыталась качать ножкой. Шерлок едва не свалился с лестницы.

– А что теперь?.. – спросил он.

– «Пустячок», – ответила миссис Хадсон.

– Я чуть себе шею не свернул, а вам – то шутка, то пустячок! – возмутился Холмс.

– Как все запущено, Холмс, – сказала миссис Хадсон. – Придется мне заняться вашим музыкальным просвещением. Начнем с Баха. Итак, автор прозвучавшей «Шутки» Иоганн Себастьян Бах родился в 1685 году в небольшом немецком

городке Эйзенахе и первые навыки игры на скрипке он получил от отца, скрипача и городского музыканта...

У Шерлока все поплыло перед глазами – то ли от миссис Хадсон и ее Баха, то ли от голода.

То ли от того и другого... Пришлось приводить его в чувство и возвращать к жизни превосходными ростбифом и кексом, которые замечательно готовила миссис Хадсон.

Несостоявшаяся шарлотка

Однажды сэр Артур Конан Дойл пригласил в гости сэра Исаака Ньютона. Сидят, ведут споры о том, о сем – коротают длиннющий зимний вечер. И вот с мороза входит миссис Хадсон с корзинкой – злющая-презлющая.

– Подлецы, – говорит, – все подлецы...

– Это кого же вы так обзываете «ласковым» словом? Кто такие подлецы? – поинтересовался Конан Дойл.

– Продавцы подлецы, потому что цены на яблоки взвинтили. А вы подлец, сэр Артур, потому что отправили за эти проклятущими яблоками старушку, да еще в такой мороз. Шарлотки, видите ли, захотелось. А шарлотка, к вашему сведению, французская стряпня. Не красит это вас, сэр Артур! – высказавшись, миссис Хадсон двинулась на кухню.

– Не угостите ли яблочком, милая старушка? – сказал сэр Ньютон. Миссис Хадсон оглянулась, полоснула ученого

взглядом да как швырнет яблоком – аккуратно в макушку попала!

– Эврика! – закричал Ньютон и осененный домой побежал – закон записывать.

А сэр Конан Дойл в этот вечер остался без шарлотки, без приятного собеседника, да и муза его не посетила, сколько перьев не ломал.

Метод дедукции

Однажды миссис Хадсон потчевала доктора Ватсона новым своим кулинарным изыском. Чай стыл, а Холмса все не было. Когда часы в прихожей пробили половину десятого, в комнату, где полыхал камин, ввалился Шерлок с Лейстредом из Скотланд-Ярда.

– О, Холмс, мы вас так давно ждем, – обрадовался Ватсон. – Миссис Хадсон испекла замечательный бисквит.

– Дорогой друг, мы были в Скотланд-Ярде, – ответил Холмс.

– Может, и в Скотланде, да не в Ярде... – пробурчала старушка. Великий сыщик в который раз игнорировал ее стряпню.

– Где же мы были в таком случае? – спросил, смеясь, Холмс.

– По бабам ходили! – выпалила старушка.

– Это почему вы так решили?

– Во-первых, у вас странно блестят глаза...

– Мы вышли на след убийцы!

– Во-вторых, у вас помада на шее...

– При задержании преступница хотела укусить меня, но Лейстред...

– Принял укус на себя... – закончила старушка. – У него помада не только на шее, но и на щеке.

– А в-третьих? – спросил Холмс.

– А в-третьих, у вас из кармана торчит некая часть, простите, женского нижнего белья. И не пытайтесь меня убедить, что вы взяли часть женского гардероба, чтоб снять отпечатки пальцев...

– Именно так все и было! – воскликнул Холмс.

– А в-четвертых, у вас что-то не застегнуто! – сказала миссис Хадсон и, пока Холмс застегивал это что-то, ушла с гордо поднятой головой: – Метод дедукции, Холмс! Учитесь, пока я жива!

Вначале была миссис Хадсон

Однажды Артур Конан Дойл и Эдгар По заспорили, что было первым – курица или яйцо.

Спорили до хрипоты...

– Может, вы скажете, что ваша курица былой первой! – кричал вышедший из себя сэр Артур.

– А откуда, по-вашему, яйцо появилось? Из правого рукава фокусника? – не уступал Эдгар По.

– Совершенно верно, – отвечал Конан Дойл. – И имя этого фокусника – Вселенная. Сначала она сжималась. И сжалась до размера яйца. Произошел большой космический взрыв и яйцо...

– Разбилось! – подхватил По. – Все эти теории – вранья. Может, вы скажете, что и метод дедукции придумали вы или ваша вселенная?

– Метод придумал я, – сказал Конан Дойл.

Но тут стоявшая за спиной миссис Хадсон заговорила:

– Слушать вас противно – ругаетесь, как мальчишки. А между тем метод дедукции придумала я! Вспомните, как я раскусила Холмса, когда он утверждал, что был с Лейстредом в Скотланд-Ярде.

Джентльмены замолчали. Потому что поняли: вначале была миссис Хадсон!

Тиха Вальпургиева ночь

Шерлок Холмс любил подшучивать над миссис Хадсон. Приходит она однажды и говорит:

– Мистер Холмс, деньги за квартира давай. Буду новый метла и керосинка покупать – нашый совсем прохудился.

– Ну, керосинка понятно для чего, – сказал Холмс. – А зачем вам метла? Полетите на Лысую гору? Так ведь не Валь-

пургиева ночь еще! – и как захохочет.

– Ну, погодите, Холмс, я вам еще припомню!

И припомнила: когда Холмс возвращался домой, Хадсон стояла на пороге и никого не впускала в дом – ни его, ни Ватсона. Только был слышен на всю округу ее зычный голос.

– Эй, мистер, ты сюда не ходи! Ты туда ходи – снег башка пададет: савсем больна будет!

Список грехов

Когда Ватсон женился и решил съехать с квартиры на Бейкер-стрит, миссис Хадсон сначала упала в обморок, а потом упала на колени... перед Ватсоном:

– Не покидайте меня, Джон! Не оставляйте меня одну с этим...

– Но, миссис Хадсон, я люблю другую женщину и не собираюсь мельтешить у вас перед глазами всю жизнь.

– Мельтешите! Сколько хотите мельтешите, только не оставляйте меня с этим несносным Холмсом!

– Ах, вот оно что! А я уж грешным делом подумал, что вас обуяла страсть на старости лет...

– Живите у меня. Я уступлю вам с женой лучшую комнату – свою.

– Вы не поняли, миссис Хадсон: мы решили купить дом и жить отдельно. Не драматизируйте ситуацию: Холмс – человек со странностями, но не более того...

– Да, но этих странностей – воз и маленькая тележка! Я ненавижу, когда он курит, играет на скрипке, проводит свои химические опыты, в его комнате постоянный беспорядок, а еще...

Чтобы прервать длиннющий список грехов и пороков Холмса, Ватсон посоветовал:

– А вы обратитесь к мистеру Конан Дойлу. Только он вам поможет.

Миссис Хадсон пожала в знак благодарности руку Ватсону и побежала к

сэру Артуру. Тот, выслушав старушку, отправил Холмса на два года в Тибет, где он провел несколько дней у далай-ламы, а потом опубликовал свои записки об этом путешествии под именем норвежца Сигерсона. Затем Холмс был услан в Азию, по милости Конан Дойла объехал всю Персию, заглянул в Мекку и побывал с визитом у калифа в Хартуме. Как была рада миссис Хадсон!

Холмс в квадрате

Однажды к Холмсу и Ватсону на Бейкер-стрит приехали исполнители их ролей Василий Ливанов и Виталий Соломин. Открыла дверь миссис Хадсон, видит – стоят Холмс и Ватсон. Смотрит в прихожую – сидят Холмс и Ватсон.

– Неужели я сошла с ума? – прошептала старушка, а знаменитому сыщику сказала: – Холмс, к вам пришли... вы са-

ми.

– А у старушки нашей – того: дежа вю! – сказал Холмс Ватсону. Они уложили миссис Хадсон в постель, вызвали скорую медицинскую помощь. А Ливанов и Соломин постояли у дверей, да и ушли – у них на этот день было запланировано посещение других достопримечательностей Лондона.

Притча во языцех

Однажды миссис Хадсон получила телеграмму: «Дорогая Марта, приезжаю сегодня дневным поездом. Встречать не надо. Твоя Джейн».

Проходя мимо Холмса, она сверкнула глазами, торжественно произнесла: «Наконец-то ваше мужскому засилью приходит конец!», помахала телеграммой перед глазами («вот!») и гордо удалилась на кухню, где сразу что-то зашумело, зашипело и начали источаться немислимые ароматы.

– Кто так вдохновил нашу фурию? – спросил Холмс Ватсона.

– Возможно, приезжает кто-то из ее родственников...

– Или родственниц... – поправил Холмс. – Но у нее, насколько я знаю, никаких родственников нет.

Ватсон развел руками.

В полдень раздался звон дверного колокольчика и миссис Хадсон, приодетая и на помаженная, пошла открывать дверь. На пороге стояла – ба! – ее старинная подруга мисс Марпл.

– Дорогая Джейн!

– Дорогая Марта!

Старушки обнялись и прошли в комнату Хадсон.

– Мне очень стыдно, Ватсон, но я пойду и подслушаю, о ком судачат наши кумушки.

Подкравшись к спальне миссис Хадсон, он услышал, как старушка всхлипывает, а мисс Марпл ее успокаивает.

– Дорогая Джейн, я уже не чувствую себя здесь хозяйкой дома. Я – настоящая мученица! Мало того, что второй этаж моего дома в любое время подвергается нашествию каких-то странных и зачастую малоприятных личностей, но и сам Холмс своей – мягко говоря – эксцентричностью и безалаберностью постоянно испытывает мое терпение, которое небезгранично. Его чрезвычайная неаккуратность, привычка музицировать в самые неподходящие часы суток, иногда стрельба из револьвера в комнате, загадочные и весьма неароматичные химические опыты, которые он часто ставит, сделали Холмса самым неудобным квартирантом во всем Лондоне. Перед ним закрыты все двери. И только я с моим ангельским нравом и терпением еще не указала ему на дверь.

Тут миссис Хадсон прервала длинную тираду и шепотом добавила:

– Но, с другой стороны, платит он по-царски. Только поэтому я и терплю... Ну что я все о себе да о себе?! Как жизнь в Сэнт-Мэри-Миде? Как твой дорогой племянник Раймонд? Не забывает тебя? Что он пишет? Сколько книг издал в

США?..

Дальше Холмс слушать не стал. Он вернулся в свою комнату и сказал Ватсону:

– Ваш покорный слуга – притча во языцах!

Трое Толстых и прочие рассказики о писателях

Все!

Однажды Толстой проигрался в пух и прах...

А тут Гоголь проходил мимо гоголем вместе с Достоевским.

И говорит:

– Пушкин, Федор Михалыч, не поверите, – это наше...

Толстой цап-цап по карманам – пусто!

– Все! – сказал Лев Николаич.

А Гоголь Достоевскому сказал:

– Даже Толстой согласен, что Пушкин – наше все!

– Как все? – недоумевал ФМ.

– Все, больше не буду играть на деньги! – сказал Толстой.

– Не зарекайся, старый, – сказал Гоголь и стал пересказывать Достоевскому рассказ Толстого про баню...

Все!

Как Путин и Медведев Достоевского спасли

Достоевский проигрался однажды в пух и прах. До нижнего, пардон, белья. Жена его, стеновая слезно, пошла на прием к Путину с Медведевым.

– Как же вы допускате, отцы-государя, чтобы пагубная страсть вконец сгубила гениального писателя!

– Какого? Александра Исаевича мы вроде бы, не обидели – сказал Путин.

– Да не Соженицын, а Достоевский! – сказала бедная женщина. – Я имею честь быть женой Федора Михайловича.

– Ааааа! – в один голос сказали Путин и Медведев. И издали указ о запрещении игорного бизнеса в России, кроме дозволенных зон, до которых добраться у Достоевского не было возможности.

Так Пугин с Медведевым спасли Достоевского и Россию от заразы лудомании.

Семейное счастье Толстого

«Есть счастливые семьи, но некоторые счастливее семейных...» – написал Лев Николаевич, но строгий внутренний цензор Толстого, его ум, честь и совесть Софья Андреевна что-то пробурчала про соль на раны, сор из избы и исправила

на то, что дошло до нас из седых толстовских времен: «Все счастливые семьи похожи друг на друга, каждая несчастливая семья несчастлива по-своему». Левушка обиделся и пошел спать на конюшню. Вместе с Чеховым. Там у Чехова и Толстого и родилась знаменитая «Лошадиная фамилия»...

Сенной супчик

Толстой решил стать вегетарианцем... под дулом пистолета Репина.

Репин сказал:

– С завтрашнего дня у тебя начинается новая жисть – бушь со мной супчиком из сена питаться.

– Лана, – согласился великий Лев. – Но в новую жизнь я хочу взять с собой Антошу. Можно сходить на конюшню?

– Зачем тебе, Левушка, в новой жизни конюх? – спрашивал живомаз Репин.

– Чехов – не конюх. Чехов – великий (после меня!) русский писатель.

Репин согласился.

Так Антон Палыч стал вынужденным толстовцем и вегетарианцем. И наконец, хлебая сенной репинский супчик, дописал свой рассказ о лошадиной фамилии.

Кто что у кого стибрил

Шекспир не любил Толстого, потому как Левушка еще в детстве стибрил у Уильяма сюжет... Потом – другой... А маленьке наябедничал, что Великий Бард у него ворует сливы...

Про птичку

Толстой юговал в Севастополе. Однажды его разбудил чей-то крик. Левушка думал, что Софья Андревна завтракать зовет. А оказалось: чайка кричит как самашэдшая. Рассерчал и... подарил Чехову сюжет пьесы про гадкую птичку.

Кривое зеркало

Лев Толстой был зеркалом русской революции. Посмотрел в это зеркало Троцкий и умер от ужаса. Так ледоруб, припасенный для него, и не пригодился...

Фрукты-овощи

Софья Андреевна очень любила вишневое варенье без косточек и часто усаживала Левушку косточки вынимать. С

тех пор Толстой невзлюбил вишни. И продал вишневый сад Чехову. А тот возьми и пьеску напиши да деньги за нее получи немалые. А потом – «Крыжовник»... Рассердился Лев наш Николаич и решил написать роман «Развесистая клюква», но Софья Андреевна рукописью печку растопила... И Толстой с тех пор не пишет про фрукты-овощи...

Хождение мало ли куда

Толстой работал над новым романом, когда к нему зашел Чехов.

– Над чем работаете, Алексей Николаевич?

– Над трилогией. Вот первый роман уж начал. «Три сестры» называется.

– Постойте, – говорит Чехов. – Но «Три сестры» уже написаны.

– Кем же?

– Мной! Назовите свой роман как-нибудь по-другому. Например, «Сестры».

Толстой согласился и вычеркнул из названия слово «три».

– А как трилогия будет называться?

– «Хождение»!

– Хождение куда? Непонятно!

– Хождение в народ! Хождение по мукам! Да мало ли куда хождение! – сказал Толстой.

– Надеюсь, вы не назовете трилогию «Хождение» или

«Хождение мало ли куда»! – возразил Чехов. – Народ это читать не станет. Используйте пиар-технологии. Надо выбрать название яркое, броское, запоминающееся. Назовите «Хождение по мукам»! Народ у нас любит мучеников – тут же раскупит!

Антон Павлович как в воду глядел – первый том трилогии «Хождения по мукам» у Толстого с руками оторвали! Пришлось Алексею Николаичу второй том секретарше надиктовывать.

Облако в штанах

Про то и про это

Однажды Володенька Маяковский загрустил по своей грузинской родине, где папаша его нес нелегкую службу лесничего. Вспомнилось ему лесное детство. И Володенька стал стишки сочинять:

Однажды в студеную зимнюю пору
Я из лесу вышел. Был сильный мороз...

Не видел он, что сзади идет Николай Алексеич Некрасов и, пока Маяковский сопли подбирает, стихи за ним записывает...

Володенька уже и книгу готовил «Коммуна Руси. Жить хорошо!», как вдруг ему сообщили, что Некрасов накануне издал «Кому на Руси жить хорошо».

Разозлился Маяковский и написал на Некрасова сатирическую поэму «Про это».

Я сам!

Однажды в 5-й московской гимназии, где учился Володя Маяковский, учитель решил учеников своих научить приемам классического стихосложения. А Маяковский в тетради рожи рисовал.

– Ну-ка, молодой человек, покажите, что у вас получает-ся...

А у Маяковского одни рожи да пару подписей:

Квадратнорожий мой наставник
Пыхтит над нами, словно чайник...

– Кто ж так сочиняет! – возмутился учитель. – Тут и ритм рваный, и стиля нет... Ну-ка давай я чуток подправлю.

– Ага, фигушки, – сказал Володенька. – Сначала поправите, а потом издадите под своим именем. Я сам!

И все свои четыре пародии издал под названием «Я сам».

Рожжа как предчувствие кубофутуризма

Рисовал Маяковский свои рожи, рисовал, а приятели его по гимназии ржали до колик над рожжами родимых преподав: «Ну, Вован, ты просто художник!»

И Вовка решил поступить в Московское училище живописи, ваяния и зодчества. Ваять пробовал – ничего не сваял. Дом спроектировал – он тут же развалился от легкого дуновения ветерка. Портрет своего друга Бурлюка нарисовал, а на холсте кто-то квадратнорожий.

– А это что за образина? – спросил Бурлюк.

– Это не образина, а твой портрет!

– А почему я на куб похож на портрете?

– Так я стиль новый открыл – кубофутуризм.

Бурлюк жутко обиделся на этот пасквиль на себя. Но к течению кубофутуризма примкнул. На всякий случай...

Младой поэт и 33 коровы

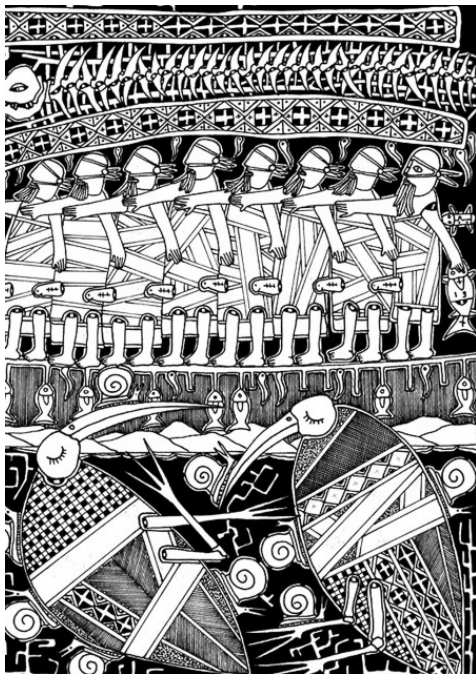
Лежал однажды Маяковский в стогу сена и вирши сочи-нял про неразделенную любовь. Рифма не шла. И вдруг он услышал коровье мычание.

– Вот оно! – воскликнул поэт и за карандаш схватился. Две тетрадки исписал, а когда в город вернулся, издал сбор-

ник своей любовной ерунды под названием «Простое как мычание».



**Александр Галяткин. Юлия Фадеева
г. Санкт-Петербург**



Анекдоты про Гримуарову-Штиглиц

Изящный захват литературного пространства

*– великое дело.
Н. Гримуарова-Штиглиц*

Дорогой читатель, мы считаем необходимым рассказать о нашей доброй приятельнице, причем весьма необычным способом. Зовут ее Надежда Людвиговна Гримуарова-Штиглиц. В юности она мечтала стать филологом, но судьба распустила иначе: Гримуарова-Штиглиц работает судебно-медицинским экспертом. Наше произведение дает ей уникальную возможность прожить еще одну жизнь.

Мечта Надежды Людвиговны сбудется! Она превратится в филолога высочайшего класса и станет лучшей в искусстве создания изящной литературной мистификации. Что поделаться, дорогой читатель, если создать изящную литературную мистификацию больше некому, кроме умной и очаровательной женщины, которой приходится каждый рабочий день от звонка до звонка препарировать трупы.

Абсолютно убеждены, что такая культурная героиня, как Гримуарова-Штиглиц из этих анекдотов, необходима во все времена, а особенно в наши, когда для русской литературы настали темные века.

Авторы выражают глубокую благодарность Ивану Петровичу Белкину, без дружеского содействия которого создание этого произведения было бы невозможным.

Студенты обожали Гримуарову и русскую литературу. Приходит как-то к ней на экзамен арабский студент, сын нефтяного магната, и говорит:

– Поедем со мной, Шахерезада, будешь мне одному про русскую литературу сказки рассказывать.

– Ладно, но учтите, что первая сказка будет про бедуина Дантеса, который убил шейха Пушкина за Шахерезаду.

– Вах! А можно, чтобы в первой сказке шейх Пушкин убил бедуина Дантеса?

– Увы. Иншалла.

Так и не поехала.

* * *

Гримуарова ведет семинар по современной русской литературе:

– Современные русские писатели делятся на два типа. Да вы и сами знаете! Кто скажет, как называется литератор, который не может не писать, но не способен создать ничего стоящего?

– Графоман! – закричали студенты.

– Верно. А как называется литератор, который может создать хороший текст, но не хочет?

– Сволочь он, – донеслось из аудитории.

Гримуарова:

– Лев Толстой бы не согласился. Всем сказал: «Если можешь не писать, не пиши», – а сам... Но лично мне больше нравится высказывание другого классика: «Писал бы лучше, жил бы дольше».

* * *

В молодые годы Гримуарову-Штиглиц часто посылали на прием к высокому начальству подписывать важные бумаги. Высокое начальство любило ее и постоянно предлагало вступить в опасные связи. На это Гримуарова-Штиглиц всегда отвечала:

– С удовольствием, если вы читали Шодерло де Лакло в подлиннике.

Высокое начальство разочарованно разводило руками. Этим дело и заканчивалось. Но однажды попался умный начальник, который спросил:

– А вы-то сами читали?

Его фамилия была Гримуаров.

* * *

Позвали как-то раз Гримуарову в жюри одного литературного конкурса и строго-настрою предупредили, что победить должно произведение автора под номером три, а остальные можно даже не читать.

Наступил финал конкурса, пришла вся литературная и другая общественность. Выступают члены жюри и называют имя победителя. Дошла очередь до Гримуаровой:

– Все произведения гениальные, но по воле Ремарка победил автор под номером три.

В зале шум и крики:

– При чем здесь Ремарк? Какая такая ремарка?! Давайте уже водку пить!

– Вчера перед сном я прочитала все произведения конкурсантов, а еще «Три товарища» Ремарка, – призналась Гримуарова и замолчала.

– И что дальше? – разволновалась публика. – Не тяните, водка стынет!

– И сразу начала водку пить! – снова призналась Гримуарова.

Все обрадовались, стали обниматься, целоваться, фотографироваться, а главное – водку пить за победителя и за Ремарка.

* * *

По университету ходила легенда, что дома у Гримуаровой в нижнем ящике письменного стола лежит настоящий средневековый гримуар. Рассказывали, что достался ей сей манускрипт от потомков особы, близкой к Федору Сологубу. Те счастливики, которым Надежда Людвиговна давала полистать волшебную книгу, клялись, что таких страшных заклинаний не читали никогда. Все эти слухи изрядно надоели Гримуарову.

– Надежда, перестань позорить фамилию. Показывай, что за чертовщина у тебя в нижнем ящике письменного стола!

Надежда Людвиговна покорно протянула мужу рукопись. На первой странице было написано «Гримуар. Посвящается Гримуарову».

– Что это?!

– Мои любовные стихи, посвященные тебе.

– Но почему они такие страшные?

– Ты в зеркало-то на себя посмотри! К тому же, мне надо было почувствовать, что такое настоящая литературная мистификация. Пригодится для будущей книги.

– Знаешь, Надежда, давай спать в разных комнатах. Я – с телевизором, а ты – с мистификацией, – обиделся Гримуаров.

* * *

У Гримуаровой подозрительно часто стала ломаться клавиатура. Гримуаров приходит с работы, а Гримуарова из клавиатуры что-то вытряхивает. Думал, крошки, а оказалось – слезы! Пришлось ему в очередной раз покупать жене клавиатуру.

– Ты же знаешь, какая я сентиментальная, – оправдывалась Гримуарова.

– Лучше бы завела себе любовника, чем плакать по пустякам, – опять неудачно пошутил Гримуаров.

– Я никогда не предаю тебя духовно, – опять заплакала Гримуарова.

Никогда еще Штиглиц не был так близок к провалу.

* * *

Гримуарова никогда не видела своего первого мужа таким веселым, как в день их развода.

«Хоть бы для виду расстроился», – подумала обиженная Гримуарова, уходя к Штиглицу.

«Не дожدهшься! – подумал Гримуаров. – В моей жизни было два светлых дня. Первый – когда в детском доме какие-то безумцы дали мне фамилию Гримуаров. И второй – сегодняшний. Ура! Больше никто не будет заставлять меня читать Шодерло де Лакло в подлиннике! Да, Штиглиц, никогда еще ты не был так близок к провалу!»

* * *

Штиглиц тайком от Надежды Людвиговны ходил к Гримуарову играть в шахматы и жаловаться на жену.

Узнала об этом Надежда Людвиговна и спросила:

– И кто у вас обычно выигрывает?

– Гримуаров всегда ставит мне мат. Вся надежда только на китайскую ничью! – признался Штиглиц.

– Не переживай, скоро мы устроим ему пат, женив на какой-нибудь из моих подруг. Есть у меня одна на примете – вылитая Скарлетт О’Хара.

Никогда еще Гримуаров не был так близок к провалу!

* * *

Гримуаров оказался любимцем богов и чудом спасся от Скарлетт О’Хары. И Штиглицу пришлось в очередной раз покупать жене клавиатуру.

– Почему ты плачешь? – спросил Штиглиц.

– Я пишу книгу про вас с Гримуаровым.

– Как решила назвать?

– «Два любимых мужа – как последний аргумент творца перед вечностью»!

«Да, Гримуаров, никогда еще ты не был так близок к провалу», – подумал Штиглиц.

* * *

Книга Гримуаровой «Два любимых мужа – как последний аргумент творца перед вечностью» вызвала огромный резонанс, но на презентацию Надежда Людвиговна не пошла. Когда Штиглиц вернулся домой, жена плакала и отделяла зерна кофе от фасоли.

– Что же ты, Надюша, не пошла с нами? Так весело было, артисты выступали!

Гримурова как закричит:

– Сколько вы заплатили наборщику?!

На обложке книги оказалось написано: «Гримуаров и Штиглиц. Два любимых мужа – как последний аргумент творца перед вечностью».

Никогда еще Гримуарова не была так близка к провалу!

* * *

Гримуарова перенесла тяжелую операцию и впала в кому. С горя Гримуаров и Штиглиц три дня гуляли с цыганами. Но когда Надежда Людвиговна пришла в себя, она увидела у своей кровати Гримуарова и Штиглица.

Конец ознакомительного фрагмента.

Текст предоставлен ООО «ЛитРес».

Прочитайте эту книгу целиком, [купив полную легальную версию](#) на ЛитРес.

Безопасно оплатить книгу можно банковской картой Visa, MasterCard, Maestro, со счета мобильного телефона, с платежного терминала, в салоне МТС или Связной, через PayPal, WebMoney, Яндекс.Деньги, QIWI Кошелек, бонусными картами или другим удобным Вам способом.